И. И. ПОПОВ

МИНУВШЕЕ и ПЕРЕЖИТОЕ



ACADEMIA

Воспоминания И. И. Попова сообщают многочисленные и разнообразные факты общественной жизни Петербурга 70—80 гг. XIX в. и деятельности революционных групп той поры. В частности, автор рассказывает о народовольческой рабочей группе, участником которой он был, и о периоде разгрома «Народной Воли».

В воспоминаниях И. И. Попова мы находим также описания (частью беглые) встреч с многими деятелями революционного, общественного и литературного движения.

Настоящая книга представляет собой исправленное переиздание первой части воспоминаний И. И. Попова.

Цена 6 руб.
Переплет 2 руб.




ACADEMIA

РУССКИЕ МЕМУАРЫ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА И МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И БЫТА

Под общей редакцией В. И. Невского

ACADEMIA

Москва — Ленинград

И. И. ПОПОВ

МИНУВШЕЕ и ПЕРЕЖИТОЕ

Из воспоминаний

ACADEMIA
1933

Переплет и суперобложка
А. П. Могилевского



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Выпуская в свет вторым, исправленным, изданием первую часть воспоминаний И. И. Попова, издательство руководилось признанием исторической ценности и фактической насыщенности этой книги.

Для характеристики такого важного и еще сравнительно мало освещенного периода развития русского революционного движения, как 80-е годы, период партии „Народная Воля“, воспоминания И. И. Попова сообщают важный, интересный и богатый материал.

Автор рассказывает об участниках народовольческой рабочей группы и группы Благоева, о „Молодой Партии Народной Воли“, о том, как в тяжких условиях победы реакции шло собирание революционных сил, до поры до времени уцелевших от преследования, о том, как устанавливались связи между отдельными революционными кружками и организациями и складывалась их работа. Факты, сообщаемые И. И. Поповым, наглядно показывают, что в 80-х годах революционная практика зашла в тот тупик, из которого выход мог указать лишь революционный марксизм с его опорой в массовом рабочем движении.

Но ценность разнообразного фактического материала, содержащегося в настоящей книге, не позволяет закрыть глаза на принципиальные недостатки и слабости, присущие точке зрения И. И. Попова, его методу освещения изображаемых событий.

Факты революционного движения И. И. Попов дает, главным образом, в бытовом и организационном разрезах, мало интересуясь подлинной сущностью тех или иных идейных разногласий.

Хотя воспоминания И. И. Попова о 80-х годах писались в послеоктябрьское время, в книге этой живое воспроизведение многих фактов изображаемой эпохи сочетается с таким их освещением, в котором несомненно чувствуется влияние розоватого благодушия народника 90-х и 900-х годов, доверчиво относящегося к российскому буржуазному либерализму, к „обществу".

Правда, что эти стороны мировоззрения И. И. Попова наиболее отчетливо отразились во второй части его воспоминаний, там, где мемуарист рассказывает о сибирской политической ссылке 90-х годов, о своей редакторской работе в газете „Восточное Обозрение".

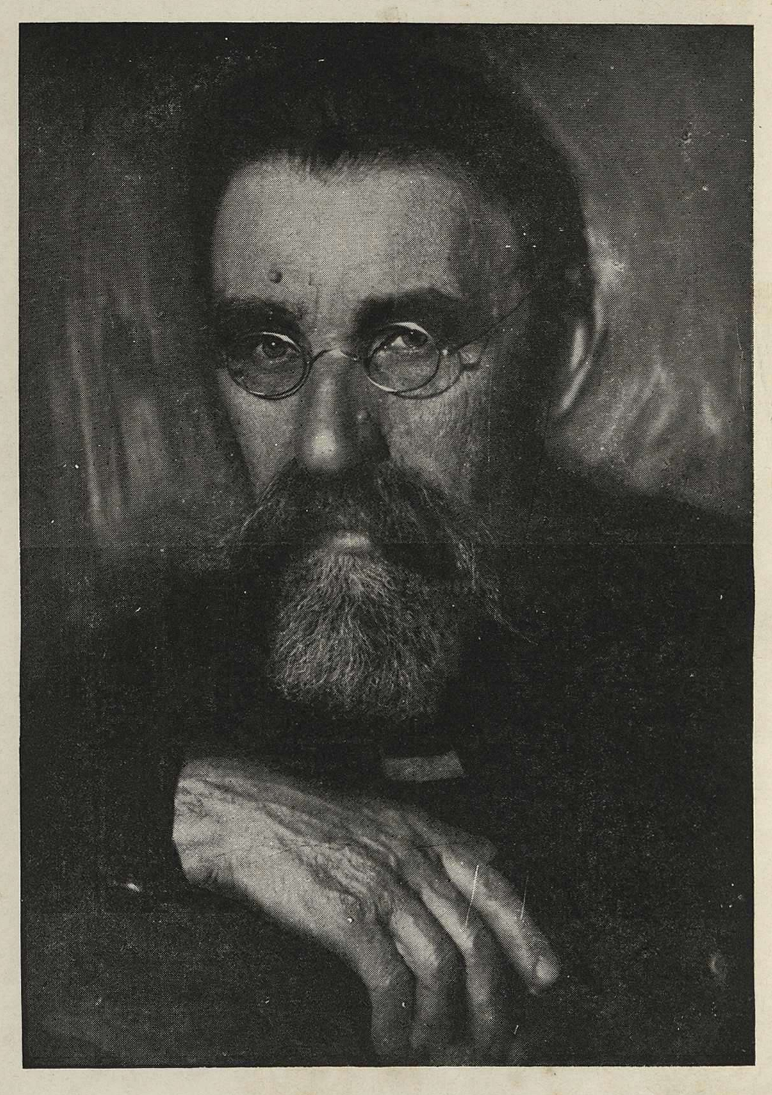
Но и в первой, ныне переиздаваемой части воспоминаний, в ряде оценок автора в отношении к некоторым эпизодам общественной жизни заметны черты, характерные именно для позднейшего, склонявшегося к либерализму народничества. Так, рассказывая о периоде русско-турецкой войны, И. И. Попов изображает „русское общество" каким-то единым и цельным организмом, игнорируя классовое и идейное его расслоение, не критикует национализм и шовинизм той поры.

А описывая лекцию В. Соловьева, после 1 марта 1881 г., излагая его реакционное учение об „истинной народной религии", И. И. Попов опять-таки не умеет сказать читателю о подлинной классовой сущности этого выступления, о жалком бессилии и подлой трусости либерального общества и его философа.

Конечно, такое изображение этих эпизодов не имеет ничего общего с боевой идейной непримиримостью лучших представителей революционного народничества.

Только имея в виду точку зрения автора и правильно ее расценивая, читатель настоящей книги сумеет плодотворно использовать собранный И. И. Поповым в его воспоминаниях материал.

„Academia"



Попов Иван Иванович

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ



Попов Иван [illegible]

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые две части моих воспоминаний, изданные изд-вом „Колос" в 1924 г., были встречены и читателями и критикой благожелательно. Книги не залеживались, и через три месяца на рынке их не было. Критика („Былое", „Каторга и ссылка", „Печать и революция", „Красная летопись", „Красная газета", „Красный флот" и др.) отнеслась к ним одобрительно, и я не знаю ни одного отрицательного отзыва. После выхода I тома мне была поставлена на вид сжатость („скупость"), изложения, и это указание основательно: работая над I томом, я старался согласно положению книжного рынка уменьшить его размер. Но когда книга быстро разошлась, то я отказался от „скупости", и уже за II том я не получил замечаний за сжатость изложения.

В настоящее время я значительно дополнил I том как собственными воспоминаниями, так и указаниями моих критиков. Особенно ценны для I тома были указания С. Валка, который разбирал архив Департамента полиции, и в его руках было и мое дело со всеми допросами. Несомненно, у С. Валка даты и указания, основанные на документах, более точны, чем даты, сохранившиеся в моей памяти. Его фактическими указаниями я с благодарностью воспользовался, но оставил без изменения эпизод на допросе с письмом П. Ф. Якубовича ко мне. Очевидно, речь идет о разных письмах. Покойный М. П. Орлов уже после рецензии С. Валка также припомнил, что Якубович дал ему для меня письмо, а он передал его кому-то из моих знакомых. Не могу обойти молчанием замечание о тенденции, о моем желании смягчить остроту раскола в партии во время „Молодой

Партии Народной Воли“. Смею уверить, что подобного намерения у меня не было.

В. А. Бодаев, с которым у меня возобновились сношения, в письме ко мне внес несколько поправок к I тому, как Н. А. Чарушин ко второму, причем Н. А. Чарушин в письме от 18 декабря 1924 г. писал мне: „Большое спасибо за присылку Ваших воспоминаний, уже прочитанных мною с наслаждением...“

Имею письма А. В. Пихтина, А. В. Геденовского и других, которые также отзываются о воспоминаниях одобрительно. Все эти благожелательные отзывы и подвинули меня ко второму изданию, которое я дополняю портретами лиц, имевших отношение к революционной деятельности, фотографии которых еще не были воспроизведены в печати.

Большая часть фотографий взята из моей коллекции, а Д. Благоев из коллекции музея „Каторга и Ссылка“ при О-ве б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

И. Попов

Москва. Август 1932 г.

I

Детство. Галерная Гавань и ее обитатели. Наводнения

Некоторые помнят себя чуть ли не с младенчества.

Мои воспоминания так далеко не заходят. Смутные впечатления остались у меня о Военном Павловском училище, откуда, после смерти отца, мы переехали в Галерную Гавань на том же Васильевском Острове в Петербурге. В училище помню длинный коридор полуподвального этажа, квартиру из больших комнат, в которых окна были под потолком, кухню с большой печью-плитой с медной арматурой, большой плац, на котором шло строевое учение юнкеров, сад, небольшой сквер посредине двора, где мы играли,—и, кажется, только. Помню какого-то офицера, который носил меня на плечах и подарил мне коня-самокатку. Это был мой крестный отец, комендант училища Ераков. Отца, Ивана Лукича, совершенно не помню. Он был фельдфебелем в училище и заведывал хозяйством. Он был родом из Тамбовской губ., г. Лебедяни, и происходил из духовного звания. Дед, дяди и брат отца—все были духовные. Отец умер, когда мне было четыре года. От похорон остались воспоминания о карете, в которой я ехал впервые и вел себя, кажется, для похорон неприлично, потому что мне делали замечания. Помню могилу, много снегу, среди которого лежал желтый песок, священника и дьякона в черных ризах... После отца, при котором мы жили безбедно, мы переехали в Галерную Гавань, где у матери был небольшой, из

четырех квартир, деревянный дом. Одну квартиру, из 3 комнат и кухни, заняли мы, а три остальные сдавали в наем и получали доход, кажется 30 руб. в месяц. На этот доход нас жило 10 человек—семеро детей, из которых старшему, Павлу, было 12 лет, а младшей сестре Евгении—1—1½ года, бабушка, сестра матери и мать. Мать, Анна Филипповна, и тетка, Марья Ф., чтобы поднять нас на ноги, дать нам образование, шили белье, а бабушка вела хозяйство. Мы с великой благодарностью храним воспоминания о матери и тетке. Еще молодые женщины (им не было 40 лет), без всякого образования, они всецело посвятили себя детям. Вопреки советам дядей—гаванских чиновников,—они дали всем нам, братьям и сестрам, образование. Дяди же советовали отдать „девок в швеи, а парней в сапожники, в портные или в певчие Александро-Невской лавры", где „дядя Федя", брат отца, был монахом, заведывал портняжной мастерской и певческой ризницей.

В Гавани мы росли на свободе и с ранних лет помогали бабушке и матери в хозяйстве: убирали двор, мели улицу, кололи и носили дрова, во дворе разводили огород, бегали за покупками и помогали на кухне стряпать. Мы, младшие, были много обязаны и старшей сестре, Вере. В год смерти отца ей было 11 лет. Веру взяли из школы, чтобы она помогала матери и тетке по хозяйству, а также шила белье. В свободное от работы время она одна, самостоятельно училась, изредка обращаясь к старшим братьям за разъяснениями. Затем, когда ей было уже 18 лет, она поступила на Надеждинские курсы, блестяще, с наградой, окончила курс и заняла в Вартемягах место земской фельдшерицы-акушерки.

Галерная Гавань лежит на Васильевском Острове и, следовательно, является частью столицы. Но в 70-х годах столичного в ней ничего не было. По внешнему виду Гавань напоминала предместье уездного городка. Одноэтажные и двухэтажные деревянные дома, часто с деревянными крышами, на которых росли мох и трава... Среди этих домов изредка подымался трехэтажный каменный дом,

который нам казался колоссом... Отсутствие даже деревянных тротуаров, деревянные тумбы, по обеим сторонам улицы открытые канавы, поросшие травой, отделенные от улицы палисадником, деревянные мостки через канавы... почти перед каждым домом садик, скамьи у ворот или на мостиках через канаву, на которых по вечерам любили сидеть гаванцы и сплетничать; появление извозчика на улице составляло событие. Небольшая деревянная церковь св. троицы, построенная еще Петром I, утопала в зелени в обширной церковной ограде. Газового освещения не было; Гавань освещалась керосиновыми фонарями, которые часто коптили. И внешний вид, и нравы жителей давали впечатление захолустья.

Сами обитатели, отделенные от города Смоленским кладбищем и Смоленским полем, на котором приводились в исполнение смертные казни, не считали себя городскими жителями и чурались городских дел. В город они ходили только на службу или на рынок; театров не посещали, и большинство из них не знало ни музеев, ни картинных галлерей, считая все это пустяком. Когда было введено городское самоуправление, то гаванцы упорно отказывались итти в гласные: „куда уж нам“, „у нас и своих дел не мало“. А в действительности „своих дел“, кроме службы и неприхотливого хозяйства, никаких не было. Гаванцы варились в собственном соку и все были между собой знакомы, а многие находились в родстве или свойстве.

Похороны, свадьбы собирали всю Гавань, и о них потом еще долго велись разговоры. На святках вся Гавань наряжалась, и ряженые с гармоникой или скрипкой ходили из дома в дом и в каждом доме танцовали. В некоторых, положим очень редких, домах были фортепьяно; роялей не помню.

Гавань лежит при взморьи, имеет прекрасный песчаный пляж: чтобы добраться до глубокого места, купальщики должны были брести 50 и более саженей. Противоположный берег залива, где расположен Петергоф, едва виден. За Гаванью по направлению к Кронштадту берег („Коса“) весь был покрыт лесом, и там было много маленьких бухт

и заливчиков, два больших искусственных пруда, обнесенных валом, и склады морского ведомства. На этой „Косе", ближе к Гавани, еще Петром I была построена крепость (Скронспицы) с каменным барьером, валами и башнями, заканчивающимися острым шпилем. Между этими башнями был искусственный порт для стоянки судов, в который вливалась речка с перекинутыми мостом и мостиками для пешеходов. „Коса" и порт были любимым местом для гуляний и наших детских игр. У основания башен в порту на каменном парапете стояли три пушки. Когда вода в Неве подымалась на три фута выше ординара, из пушек давали три выстрела, чем предупреждали жителей о начинающемся наводнении. Это предупреждение было не шуточное. Наводнения, преимущественно осенью или в начале зимы, в Гавани бывали почти ежегодно. При поднятии воды на 5 ф. и выше Гавань заливалась водой. Жители из нижних этажей перебирались в верхние или на чердаки, из одноэтажных домов уходили к соседям. По улицам плавали лодки. В каждом доме на дворе „на случай наводнения" имелись челноки и лодки. Мы, дети, плавали по двору на этих лодках или сколоченных плотах. Иногда со взморья ветром гнало баржи, и в приморской улице они разрушали дома. Гаванцы во время наводнения ловили дрова и всякую рухлядь, которые плавали по улицам. Наводнения, особенно зимой, во время морозов, причиняли большое бедствие. Зимой, когда вода сбывала,—оставался лед; ворота, двери примерзали, вода под домом замерзала; приходилось вырубать, отколачивать и выскребать. Квартиры часто делались нежилыми на целую зиму, мебель портилась. Только в конце 70-х годов, уже после нашего отъезда, улицы Гавани подняли; но наводнения бывают, кажется, и в настоящее время, только не при 5, а при 7 футах поднятия воды.

Близость „моря",—так гаванцы называли Кронштадтскую губу,— и наводнения делали из гаванцев „моряков". И взрослые и дети умели управлять лодками и плавали на них не только на веслах, но и под трехугольным па-

русом. Все мы были рыболовы, хорошие пловцы; ловить рыбу уезжали на лодках, бросали якорь, спускали в воду переметы и закидывали разом несколько удочек. Под праздничные дни при закате и восходе солнца взморье бывало усеяно лодками рыболовов. Наше плаванье на лодках, рыбная ловля нисколько не смущали наших родных; мы в челноке носились по волнам даже в бурную погоду. Все сходило благополучно, и я не помню несчастий.

Большинство гаванцев были охотники, имели преимущественно шомпольные ружья, ягдаши для дичи, болотные сапоги, а иногда и собак. Начиная с Петрова дня, гаванские чиновники уезжали под праздники на охоту на острова, к Лахте и в другие места и часто привозили уток, бекасов, куликов и др.; а во время осенних и весенних перелетов и гусей. Мы, дети, иногда сопровождали старших на „охоту", сидели и караулили лодки, поддерживали костер, когда старшие бродили по берегу и болотам, подкарауливая дичь. По возвращении с охоты нам, детям, часто поручалось чистить ружья, а старшие в это время обменивались впечатлениями и вели „охотничьи" рассказы с немалой долей небылиц, которые мы, дети, нередко изобличали. Само собой понятно, что при поездках на охоту, кроме закусок и чая, брали и водку. Вообще в Гавани пили много, но, что следует отметить, детям никогда не давали вина.

Мы, дети, в Гавани были знакомы и близки между собой и относились пренебрежительно к городским детям, не умеющим плавать, управлять лодкой. Сближение это происходило и на взморьи, где мы купались и плавали на лодках, и на „Косе"—любимом месте наших игр, и на Смоленском поле, где мы играли в лапту, городки и пускали змея. Играли в „казаки и разбойники", „индейцы", „немцы и французы" (отголосок франко-прусской войны; смутно помню, что я был как-то, вероятно, Наполеоном III, потому что сдался в плен, и меня посадили в крепость и поставили караул). Зимой на речке мы устраивали каток, горы для катанья на салазках, а на „Косе" строили крепости и укрепления из снега. Происходили целые сра-

жения, осады, выслеживания неприятеля. На эти „маневры“ приходили смотреть взрослые, которые посещали и наши праздничные состязания на коньках.

В таких условиях протекала детская жизнь в Гавани, давая широкий простор для развития самодеятельности, смелости и ловкости. Но нельзя сказать, чтобы мы росли без всякого влияния взрослых. Мы были религиозны и посещали церковь. Никогда позднее я не видел столько детей в церкви, как это бывало в небольшой церковке св. троицы в Гавани. В детстве я исполнял все обряды и посты. Я охотно посещал церковные службы и любил гостить у своего дяди Феди, в Александро-Невской лавре, где на меня надевали стихарь и давали, например при выносе плащаницы, нести рипиду. Я был горд сознаньем, что участвую в богослужении. Я подходил под благословение архиереев, священников, а когда входил в келью своего дяди, то всегда произносил: „Господи боже наш, благослови и помилуй нас“ и ждал, прежде чем войти, когда дядя скажет: „аминь“.

Праздники в Гавани справлялись по-провинциальному, и мы их ждали с нетерпением. Перед рождеством мы сами клеили из цветной, серебряной и золотой бумаги звезду, стараясь сделать так, чтобы центр ее не вертелся, чтобы в нем можно было приспособить маленькую свечу. При делании звезды требовалось большое искусство: из тонких стержней делался ее остов, затем он оклеивался бумагой, а центр асбестом; снаружи в центре вставлялась слюда. Если нам не удавалось устроить звезду со свечой, то в центре помещалось поклонение волхвов. Звезда должна была вертеться. В первый день рождества, тотчас же после обедни, мы ходили по домам „славить Христа“, пели „Рождество“ и „Дево днесь“ и заканчивали поздравлением „хозяина и хозяюшки“ с праздничком. За христославенье получали по 10—20 коп. и так набирали несколько рублей. В первый день праздника обязательно за столом должен был быть гусь с кашей. Гусь являлся частью праздничного ритуала. Святки проходили весело: наряжались, гадали, танцовали, а в крещенский сочель-

ник шли к водосвятию, приносили „святую“ воду, которой разбавляли простую воду, и мыли лицо, чтобы уничтожить следы маски. Маска считалась нечистой и едва ли не дьявольского происхождения. По крайней мере бабушка говорила нам, что на святках мы „тешим беса“. „Святой“ водой окропляли комнаты и особенно двери, на которых на четвертой неделе великого поста восковой свечой от образа из церкви выжигали кресты. В доме у образов всюду теплились лампадки, что маленьким комнатам придавало особый уют.

Масленица проходила также весело; на улицах появлялись „вейки“, крестьяне-финны, на своих маленьких лошадках, разукрашенных цветными лентами. Мы нанимали „вейку“, и он нас катал на своих небольших санках по Гавани, а нередко ездили на нем в город. На масленице мяса не ели, но зато блины и рыба были каждый день. На масленице мы ездили на „балаганы“, которые в 70-е годы строились на Адмиралтейской площади, где теперь раскинут Александровский сад. Посещение балаганов было удовольствием не только для детей, но и для взрослых. Из названий пьес, которые ставились в балаганах, у меня сохранились в памяти—„Багдадские пирожники“, „Волшебная лампа“, „Похождения Арлекина“, „Битва русских с кабардинцами“. Постановки были самые примитивные. Представление шло не больше часа. Несмотря на все это, публика валила в балаганы. Толпы народа стояли и у балаганного деда с пеньковой бородой и в таком же парике. Дед отпускал примитивные, а подчас и плоские остроты. Слушая остроумие деда, нетребовательная публика гоготала. В прощеный день, последнее воскресенье на масленице, мы шли к вечерне, после которой заговлялись—ели рыбу, блины, мороженое, пили кофе, а потом просили, начиная с матери, друг у друга прощенья, на что всегда следовал один ответ: „бог простит“. В некоторых домах при этом кланялись в землю, но у нас такого обычая не было.

Великий пост соблюдали строго; рыбу ели только в благовещенье да в субботу и воскресенье на вербной неделе. С четверга шестой недели мы ходили на вербный

торг у Андреевского рынка и у Гостиного двора, покупали „американских жителей“ и другие безделушки.

На страстной неделе говели, и в эти дни нам запрещались всякие игры и чтение светских книг. Да на страстной неделе было и не до игр: между церковными службами приходилось убирать комнаты, мыть и чистить посуду, чистить двор и улицу, а иногда и поплотничать, если что сломалось. В четверг причащались, и в этот день всякая работа, кроме окраски яиц, нам запрещалась. По случаю причастия полагались сладкие пироги. В страстную пятницу ели только тюрю: хлеб в воде с патокой, а в страстную субботу пекли куличи и бабы, делали пасху, и в это время мы ходили „тише воды, ниже травы“—от шума и беготни могли осесть куличи. В субботу к вечеру, когда я научился читать, ходил в церковь читать „деяния апостолов“. К утрени шли в светлых платьях и несли „святить“ куличи и пасху. После обедни разговлялись; был установлен порядок розговенья: начинали с освященных яиц, кулича и пасхи, а потом переходили по порядку на другую еду. На пасху спать не ложились, а рано утром шли на Смоленское кладбище и на могилах отца и бабушки крошили яйца, которые разбивали о плиту, после чего яйца целовали—это было христосование с покойниками. С кладбища шли в Александро-Невскую лавру, к дяде Феде, и проводили у него целый день. Дядя дарил нам деньги и шоколадные яйца. Вечером, когда зажигались плошки и звезды (на первый день пасхи всегда бывала иллюминация), мы возвращались домой. Расстояние между Гаванью и Невской лаврой, особенно с заходом на Смоленское кладбище, было верст десять. В течение всей пасхальной недели и в квартире, и перед домом катали яйца с катков. В „радоницу“ ходили христосоваться на могилы с умершими родственниками. В Гавани соблюдались религиозные обычаи и установления.

На пасхе и рождестве ставились любительские спектакли, для чего устраивалась сцена, на пасхе по большей части во дворе. В этих спектаклях принимали участие и взрослые, и дети.

II

Уездное и городское училища. Жизнь на Песках. Художники В. С. Крюков, И. Н. Бочаров и др.

Я рано научился читать и грамотным поступил в частную школу, где были только две учительницы. Как и чему учили—не помню, но помню, что в день их именин и праздники мы, ученики, ходили поздравлять учительниц и приносили подарки—крендель, сдобные булки и т. д. В частной школе учился не долго, а поступил в Никольское приходское училище; это было в 1871 г. Я, девятилетний мальчуган, должен был бегать из Гавани на Садовую к Никольскому рынку—расстояние в 4-5 верст. Осенью и зимой выходил из дому и возвращался домой при фонарях.

В училище я застал дореформенные порядки: учеников ставили на колени, давали затрещины, таскали за волосы и т. п. Учителя по большей части ничего не объясняли, а задавали уроки „отселе доселе“, на уроки являлись часто сильно выпившими. Исключением между учителями был инспектор Д. Д. Галанин. Он также любил выпить, но в класс являлся трезвым, всегда объяснял уроки по арифметике и не дрался. Он заступался перед учителями за учеников, выгораживал их, а нередко и разносил учителей. Особенно любил драться учитель географии Вересов. Однажды, открыв какую-то проказу, он обратился ко мне, сидящему на первой парте, с вопросом:

— Кто это сделал?

Я молчал...

— Знаешь?

— Знаю, но не скажу.

— Грубиян!

И мне влетела затрещина. Я разозлился, собрал книги и пошел жаловаться к Галанину. Я со слезами рассказал ему об обиде, нанесенной мне. Он меня вначале как будто бы пробрал, но тут же оговорился, что выдавать товарищей нехорошо, и велел мне итти в класс. После этого Вересов уже не позволял себе по отношению ко мне вольностей.

Другой раз со мной разыгралась более серьезная история.

Недалеко от Никольского училища находилось Реформатское училище. Между учениками училищ происходили стычки, а иногда и серьезные потасовки. Но злобы между нами и учениками Реформатского училища не было; после стычек мы часто возвращались домой вместе, мирно беседуя. В драках проявлялась не столько вражда, сколько молодечество. Однажды потасовка приняла довольно серьезный характер. Проходивший пристав стал нас разгонять; кто-то из нас или „реформаторов" запустил в него комом снега. Пристав приказал сопровождавшему его околоточному поймать озорника. Околоточный поймал меня, но я вырвался от него и побежал в ограду Никольского собора; он за мной, и вот, когда он уже нагонял меня, я упал к нему под ноги, он перелетел через меня, я вскочил и убежал. Через день или два я спокойно иду в училище, не предполагая, что околоточный будет поджидать меня. У самого училища я был схвачен околоточным и вместе с ним предстал перед Д. Д. Галаниным. Околоточный изложил обстоятельства дела и категорически заявил, что я тот мальчишка, который запустил в пристава снегом.

— Неправда, я не бросался снегом и не знаю, кто бросил.

— Замолчи!—довольно грозно прикрикнул на меня Галанин, а затем, обращаясь к околоточному, сказал:

— Я разберу дело... Попова я знаю—он не врет, а упал вам под ноги, вероятно, потому, что поскользнулся. За

все и за драку с учениками Реформатского училища мы его накажем.

Галанин выгородил меня перед околоточным, прочитал мне нотацию на тему о том, что к старшим, особенно к начальству, нужно относиться с уважением, и велел в течение недели оставаться на час после уроков. Но через день или два, когда я сидел в классе после уроков один, он пришел и отпустил меня домой, мотивируя эту поблажку тем, что я живу от училища далеко.

В приходское училище вместе со мною поступил Ф. К. Тетерников, будущий писатель Ф. Сологуб. Это был красивый мальчик, всегда чисто и изящно одетый, с вьющимися белокурыми кудрями, в бархатной курточке с белым широким воротником. Федя Тетерников учился хорошо. Он не принимал участия в наших драках и шалостях, был застенчив, часто краснел, и мы звали его „девчонкой“. Он был хорошим товарищем, и ученики его любили. Когда я познакомился с ним, отец его уже умер, мать служила в прислугах. Мы с ним перешли с наградами в уездное училище. В это время, в 1875 г., мой старший брат Павел кончил курс Учительского Института и получил место учителя в Рождественском городском училище, на Песках. Из Гавани мы переехали в училище, где я и стал учиться. Вскоре в Рождественское училище перевелся и Тетерников.

Мать продала наш домик в Гавани и выручила за него 5 тыс. руб. Квартира в Рождественском училище, после наших комнатушек в Гавани, мне показалась хоромами: 4 большие высокие комнаты с ванной. В этой квартире мы разместились с удобством и даже комфортом. При училище был недурной сад и большой двор. Но приволья гаванской жизни уже не было; не было и „моря“, к которому мы так привыкли в Гавани. Купаться приходилось ходить в Александро-Невскую лавру, где мы купались в речке, в купальне монахов. Отсутствие лодки также было для нас большим лишением. Положим, мы приобрели маленький ботик, который стоял на Фонтанке. На этом ботике совершали поездки на острова или ездили на „но-

чевку“ ловить рыбу. По течению Невы было плыть легко, а против течения приходилось буксироваться за баржи. Мы скучали по гаванской „Косе“, которую нам не мог заменить Таврический сад: в саду не было гаванского приволья и свободы. Только где-нибудь за Охтой или за Выборгской стороной, в поле, куда ходили гулять, мы находили то, что оставили в Гавани. Благодаря товарищу А. С. Яковлеву, отец которого был кондуктором на Николаевской железной дороге, мы по праздникам уезжали на ближайшие станции Николаевской жел. дор. и там проводили целый день.

Зимой на училищном дворе устраивали гору и каток, таскали ведрами воду из водопровода. Но все это не заменило Гавани, и я с младшим братом Николаем скучал по ней. На Песках не было и гаванской интимности жизни: там все были между собой знакомы, а здесь, на Песках, все были чужие люди; нам казалось странным, что лавочники, если у нас нехватало денег, не доверяли и не отпускали товар. В Гавани же мы покупали товар „на книжку“ и расплачивались раз-два в месяц. И церковь „рождества христова“ была чужая, и священник, и прихожане были все чужие, и мы не смели заходить в алтарь, петь на клиросе или читать в страстную субботу „деяния апостолов“.

Патриархальность жизни исчезла, и нам пришлось жить по-столичному. В этой жизни мы не ощущали тепла, от нее веяло холодом.

Мне было 13 лет, когда я перешел из уездного в городское училище. Порядки городского училища выгодно отличались от порядков уездного училища. В городском училище не было того формализма, каким отличалось Никольское уездное училище, не было и предметного преподавания. Один учитель вел оба отделения в классе, при чем каждое отделение полчаса делало письменную работу, а другие полчаса занималось с учителем устно. Впоследствии эта система была признана нерациональной, и в городских училищах было введено предметное преподавание. Состав учителей городского училища резко отли-

чался от состава уездных учителей. Только что окончившие Учительский Институт учителя городского училища были идейными и преданными педагогическому делу людьми. Несмотря на свою молодость в педагогическом отношении, они оказались более опытными педагогами, чем учителя уездного училища, и вели дело не за страх, а за совесть. Курс городского училища был шире и выше курса уездных училищ. В Рождественском училище почти отсутствовали наказания, велись беседы, устраивались чтения, вечера, экскурсии для осмотра музеев, галлерей, для собирания гербариев и насекомых. По физике и химии под руководством учителей мы сами делали приборы, покупали стеклянные колбы, трубки и т. п., производили опыты; по геометрии клеили из картона геометрические тела, устраивали приборы для решения теорем и задач в пространстве. По ботанике изучали растения в натуре, и у каждого из учеников был свой гербарий. По зоологии выводили в банках с водой головастиков, устраивали аквариумы. Благодаря таким приемам преподавания мы занимались с увлечением и сравнительно легко постигали школьную премудрость. С учителями у нас установилась духовная связь, мы их не боялись, как это было в уездном училище; новые методы воспитания и обучения имели на нас благотворное влияние. В уездном училище мы никогда не видели начальствующих лиц; училище никто не посещал, не инспектировал. В городском училище мы впервые увидели министра, попечителя округа К. П. Яновского, а инспектор и директор народных училищ посещали училище часто, особенно во время экзаменов. И учителя, и инспектор народных училищ Семеко были ласковы с нами. Исключение, пожалуй, представлял директор народных училищ С. Е. Рождественский, автор распространенного, но мало удачного учебника по русской истории. Это был сухой человек, педагог старой школы, отрицавший гуманное обращение с учениками. Он считал необходимым „мальчишек подтягивать“, а всякие новшества, вынесенные братом и его товарищами из Института, считал „благоглупостями“.

Мы, мальчуганы, были очень довольны, когда на экзамены приезжал Семеко, и волновались, когда появлялся Рождественский: первый нас ободрял, а второй подсиживал. Учился я хорошо, переходил из класса в класс с наградами и в 1878 г. окончил училище (шестилетний курс).

В детстве, еще в уездном училище, я много читал и абонировался в библиотеке. Читал без разбору, но особенно увлекался Майн-Ридом, Ж. Верном, Купером и Г. Эмаром. Рассказы их давали темы и для наших игр. На „Косе“ мы строили шалаши и, разделившись на партии индейцев и европейцев, принявши клички „Красный Кедр“, „Буйный Вихрь“ и др., воплощали в наших играх героев Г. Эмара, Майн-Рида и др. Читал я и книжки Понсон дю-Терраля, Ксавье де-Монтепена, Дюма, „Юрия Милославского“ Загоскина и др. Позднее стал читать и русских писателей, а также Шпильгагена, Эркмана-Шатриана и др. и даже прочел „Дачу на Рейне“ Ауэрбаха. Все это я перечел, будучи еще в училищах. Любил и Некрасова, многие стихотворения которого я знал наизусть. Уже в Рождественском училище чтение приняло более систематический характер: старшие братья стали мне указывать, что следует читать.

Когда мы переехали на Пески, я часто стал посещать театр, преимущественно Александринский, где покупал билеты за 10 коп. в парадизе. Бывал я и в Мариинском театре, на опере. Билеты в театр было достать трудно. Приходилось вставать ночью, итти к кассе театра и занимать там очередь. Если же была премьера или гастроль какой-нибудь знаменитости, то очередь занималась с вечера. В первый раз в театре я был еще тогда, когда мы жили в Гавани. Двоюродный брат Андрюша (сын брата отца) в день своих именин решил угостить нас театром и взял ложу в Мариинском театре на „Вильгельма Телля“, который тогда шел под названием „Карла Смелого“. Цензура не находила возможным оставить заглавие, которое было у Шиллера: Вильгельм Телль—революционер и должен был, хотя бы в заголовке, иметь второстепенное зна-

чение. Опера на меня произвела большое впечатление, и в моей памяти ярко сохранились отдельные сцены. Из пьес Александринского театра остались воспоминания о пьесах: „Хижина дяди Тома“, „Железная маска“, „30 лет, или Жизнь игрока“, „За монастырской стеной“, „Бедность не порок“ и некоторых других.

Театр, несомненно, способствовал моему развитию, особенно в связи с чтением. Рабы в „Хижине дяди Тома“, Гастон в „Железной маске“, Катерина в „Грозе“, „Братья-разбойники“ и др. оставили глубокий след в моей душе, и свои впечатления, вызванные игрой артистов, я излагал на бумаге. Как-то брат Илья нашел мою тетрадку, в которой я записывал впечатления от театра. Он стал давать мне советы, указывая темы, на которые я должен был писать сочинения, рекомендовал книги, которые я должен был прочитать. Благодаря ему я прочел Добролюбова. Помню, что проповеди отца Гавацци на меня произвели глубокое впечатление, и я по этому поводу написал целое сочинение. Лет 14—15-ти я прочел Писарева и, конечно, отрицал Пушкина. Читал журналы и газеты, больше беллетристику и обозрения. Я присутствовал при разговорах и спорах студентов, приходивших к брату Илье, который был студентом Технологического Института. От них иногда доставал и нелегальные произведения.

14-ти лет я впервые, если не считать наших детских спектаклей-представлений в Гавани, выступил на сцене. Мой старший брат Павел участвовал в любительском кружке, который давал спектакли в Приказчичьем клубе на Владимирской улице. Как-то поставили пьесу „Ворона в павлиньих перьях“, и мне дали роль мальчика, который прибегает и сообщает, что герой пьесы выиграл „палочку с шестью ноликами“, т. е. миллион. После этого я выступал со словами и без слов еще в некоторых пьесах, где нужен мальчик.

Моим товарищем по городскому училищу был Васильев, который жил у своего дяди, художника В. С. Крюкова, известного в то время иллюстратора. Я часто бывал

у Крюкова и с любопытством смотрел, как Крюков на полированных пальмовых дощечках, закрашивая их белилами, рисовал иллюстрации, а потом резцом делал клише. Крюков мне казался большим художником, и я с восхищением любовался его картиной на золотую медаль: „Смерть Олега“, написанной, как я понял впоследствии, довольно шаблонно. Как-то Крюков писал картину на выставку, и я позировал ему мальчишку, наклонившегося над ручьем и брызгавшего водой на девушку, переходившую через этот ручей по бревну. С моих рук Крюков писал руки богородицы для образа Кронштадтского собора. У Крюкова я встречался с художниками: М. О. Микешиным, И. И. Шишкиным, М. И. Крамским, И. Н. Бочаровым и др. Крюков и художники давали мне билеты на художественные выставки, которые я посещал аккуратно. Впечатлений от художников у меня осталось мало, и только Бочаров, декоратор Мариинского театра, запечатлелся в моей памяти. Довольно большого роста, мужественный, всегда залитый краской, на вид суровый, Бочаров на самом деле был добродушнейшим человеком. Я часто посещал его мастерскую, над сценой Мариинского театра. В этой мастерской я познакомился с техникой писания декораций. Меня поражали ведра с краской и кисти, чуть ли не швабры, которыми писались декорации. Я удивлялся, как вся эта мазня выходит красивой, когда смотришь ее в театре из зрительной залы. В мастерской Бочарова мы часто слушали оперы. Видеть мы ничего не видели, но слушать было прекрасно, пожалуй лучше, чем из зрительного зала. Мастерская над сценой была отгорожена барьером, за которым была большая щель. Если артисты выходили на авансцену, то мы через эту щель видели маковки их голов. Благодаря Бочарову я прослушал все оперы и не пропускал гастролей тогдашних знаменитостей—Е. А. Лавровской, скрипача Сарасате, И. А. Мельникова, М. Д. Каменской, приезжавших московских певцов. Петербуржцы холодно относились к москвичам. Посещал я и Итальянскую оперу в Большом театре. Покупал самые дешевые места в амфитеатре, расположенном в V ярусе за большой газо-

вой люстрой. Электричества тогда еще не было. Если место попадалось с краю, тогда сцену можно было видеть, хотя даже приспущенный свет люстры и здесь мешал; из середины же мест амфитеатра абсолютно не было ничего видно. Мы не видели, но зато слышали пение таких всесветных знаменитостей, как Нильсон, Патти и Мазини, начинающую петь Марчеллу Зембрих и др. Театр много способствовал моему развитию. Я аккуратно следил за рецензиями, а по драме читал самые пьесы и критику на них.

III

Русско-турецкая война. Художник В. В. Верещягин

В 1876 г. на Балканском полуострове вспыхнуло восстание босняков и герцеговинцев, изнемогавших под турецким игом. Русское общество с горячим участием следило за этим восстанием и ждало решительных шагов со стороны царского правительства.

— Как же, поможет ваш царь боснякам и герцеговинцам,—говорил брат Илья нашей матери, которая возмущалась неистовствами турок.—Поможет, ждите. Повстанцы хотя и христиане, но бунтовщики и восстали против своего царя. Султан хотя и магометанин, но царь... Православный ворон не выклюет глаз магометанскому ворону.

— Нет, Илья, ты неправ. Царь поможет: весь народ сочувствует православным славянам. Вот и в церквах говорят проповеди и призывают помогать восставшим, жертвуют охотно,— так возражала мать моему брату.

— Ладно, поживем—увидим!

Восстание разрасталось. Брат Илья рисовал мне и меньшому брату босняков, герцеговинцев, а потом сербов, черногорцев и болгар. Мы с нетерпением ждали, когда выступят русские войска. Сербия и Черногория объявили Турции войну. В Сербию уехал ген. М. Г. Черняев. В правительственных кругах, как говорили, были недовольны этой поездкой. Черняев вынужден был подать в отставку и стал во главе сербской армии. В Сербию потянулись добровольцы. Среди товарищей братьев также нашлись

охотники. Они доказывали, что борьба на Балканском полуострове—национальное дело: Россия должна выступить.

Наряду с идейными добровольцами на Балканы потянулись и различные авантюристы, которые своим поведением компрометировали добровольцев. Сочувствие к борьбе на Балканском полуострове росло. Объявления войны ждали с нетерпением и приурочивали манифест к 19 февраля. Но прошел февраль и март. Наступила весна, с которой связывался поход русских войск на Балканы.

17 апреля я был в Александринском театре. Во втором или в третьем антракте раздались крики:

— Гимн! Гимн!

Артисты и оркестр (в то время и в драматических театрах был оркестр, а в Александринском часто шла и оперетка) несколько раз исполнили гимн. Из партера и ярусов неслись крики в честь русской армии. Кричал и я, кричал, вероятно, чрезмерно, потому что ко мне подошел околоточный и „просил" меня „не безобразничать".

— Я не безобразничаю, а выражаю свой патриотизм и радость, что наша армия выступает на помощь восставшим славянам.

— Если вы будете продолжать кричать, то я выведу вас из театра.

Околоточный ушел, а я продолжал выражать свой восторг и уверенность в победе русских войск.

Петербург провожал на войну гвардию. По Невскому пр., по направлению к Николаевскому вокзалу, проходила пехота, кавалерия и артиллерия. У офицеров и солдат были цветы; гирлянды зелени были переброшены через плечо; на многих штыках висели венки. Тогдашняя походная форма мало отличалась от обыкновенной; хаки защитного цвета еще не было. На дворе и в залах Николаевского вокзала были накрыты столы. Солдат угощали, давали водку и раздавали им деньги, табак, чай, сахар, белье. Холодный Петербург потеплел и оживился.

Война развертывалась... Переход через Дунай; бои по ту сторону Дуная; потопление турецких броненосцев; Ду-

басов и Шестаков, И. В. Гурко и М. Д. Скобелев... Лубочные картины невероятного содержания, изображающие различные бои, в которых турки лежат, как скошенная трава, а русские все целехоньки... В первые месяцы войны флаги на улицах по случаю побед почти не снимались. Благодарственные молебны служились беспрерывно. Война заслонила все вопросы. Учение шло неправильно, и занятия прерывались: получалось известие о победе, в училище служился молебен, после которого мы пели гимн и кричали „ура“, а потом распускались по домам. Раненых в Петербург привозили мало. Госпиталей, кроме казенных, не было. Общественная инициатива в организации помощи раненым совершенно не проявлялась. Эшелонов раненых, санитарных поездов я совершенно не помню. Зато хорошо помню похороны герцога Лейхтенбергского, убитого в тылу шальной пулей. Хоронили торжественно: тело везли на лафете; на Невском шпалерами стояли войска; нас, школьников, водили на похороны, и мы стояли у вокзала.

С августа известия о победах стали скуднее. Пошли зловещие слухи о том, что нас погнали из-за Балкан. Задержка у Плевны. Александров день в Александро-Невской лавре прошел скромнее, чем это бывало раньше. 30 августа я всегда бывал в лавре у своего дяди. Обыкновенных смертных в этот день пускали в лавру только после того, как уходил крестный ход. В этот день раз в год открывался и митрополичий сад. В лавру приезжала вся царская фамилия, но в 1877 г., кажется, никого из царствующего дома не было.

С театра войны шли слухи об интригах, о том, что Радецкого не поддержали, и на Шипке далеко не благополучно. Образ Османа-паши, как героя, вырастал в наших глазах; но мы были уверены, что „белый генерал“ в конце концов справится с ним. Скобелев нам рисовался сверхгероем, и о нем ходили легенды.

Так, при переходе через Дунай, когда командный состав сомневался в победе, на военный совет явился Скобелев:

— Господа, поздравляю вас с победой, с переходом через Дунай.

— Откуда вы взяли? Бой только что начался.

— Ничего не значит... Посмотрите на рожи солдат: они дышат победой...

Про Скобелева говорили, что он хорошо знает русского солдата, и солдаты верят ему. Но под Плевной Скобелев зря положил не одну тысячу солдат. Правда, говорили, что приступ накануне Александрова дня был против его желания: главнокомандующий Николай Николаевич старший пожелал к именинам царя сделать подарок своему державному брату. 30 августа ст. ст. подарить победу: „именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату“—так А. Л. Боровиковский охарактеризовал мотив августовского наступления на Плевну в своем стихотворении „На смерть Мезенцева“. После этой неудачной попытки Плевна простояла еще несколько месяцев. Правда, и вылазки Османа-паши были неудачны, и после одной такой вылазки он вынужден был сдаться в плен, и Плевна пала. После падения Плевны надежды русского общества возросли, и все ждали, когда мы войдем в Константинополь. Пал Адрианополь. Пошли слухи, что „англичанка интригует“, что английский флот вошел в Дарданеллы, и если мы пойдем на Константинополь, то Англия объявит нам войну.

Действительно, наши войска остановились под стенами Константинополя, в Сан-Стефано, и не двигались дальше. Наряду со слухами, что Скобелев не подчинится требованиям англичан не входить в Константинополь, а самовольно войдет в него, а потом пусть попробуют выгнать русских из Царьграда,—пришла телеграмма о перемирии и затем о мире, заключенном в Сан-Стефано.

Гвардия возвращалась из похода. Полки высаживались не на Николаевском вокзале, а входили через Московскую заставу. Гвардию встречали торжественно, с цветами и подарками.

Берлинский конгресс... Общее недовольство нашей дипломатией. Говорили, что А. М. Горчаков выжил из ума,

а П. А. Шувалов—друг англичан. Фраза, кажется, Аксакова,—что русский солдат приобретает кровью на поле сражения, то наши дипломаты теряют за зеленым полем дипломатического стола,—стала крылатой фразой. Берлинский конгресс вызвал общее недовольство. Среди интеллигенции, отголоском которой являлись мои братья и их товарищи, усилились толки о конституции.

— Республику в Болгарии побоялись установить, а посадили на престол Александра Баттенберга; но все же, хотя и при немце, дали конституцию, а Россия, обагрившая кровью болгарские поля, продолжает оставаться рабской страной. После войны деспотический режим не только не смягчился, а напротив, реакция усилилась.

Подобные же разговоры пришлось слышать по поводу и даже на самой выставке картин художника Верещагина. Картины, которые в настоящее время находятся в Третьяковской галлерее, были выставлены на выставке после войны. Сюжеты из русско-турецкой войны заслонили туркестанские мотивы. Но и картины из среднеазиатской жизни публика ухитрилась связать с русско-турецкой войной: сюжеты их старались комментировать, как характеристику турок, под игом которых жили освобожденные болгары и продолжают жить жители южной Болгарии. Выставка произвела потрясающее впечатление. Говорили, что многие картины не пропущены на выставку, что с нее снимут еще несколько картин, в том числе—„На Шипке все спокойно“.

Художники, обычно собиравшиеся у художника В. С. Крюкова, где бывал и Верещагин, тогда молодой и полный энергии человек, с великолепной русой бородой, серьезно толковали о том, что выставку запретят. Верещагин возражал, но как-то слабо. Он бывал в сферах, но, повидимому, не был уверен в прочности данного ему обещания. Он больше молчал, когда художники критиковали главнокомандующего Николая Николаевича старшего и весь командный состав и указывали, что присутствие царя и наследника на войне мешало успеху военных действий. Много говорилось об интригах, об ин-

тендантской эпопее с гнилым мясом, с сапогами на картонных подошвах.

В. С. Крюков, очень экспансивный человек, большой патриот, обыкновенно очень горячился. И. Н. Бочаров повторял фразу Бен-Акиба из „Уриэль-Акоста“—„всяко бывало“. М. О. Микешин, вертевшийся при дворе, старался опровергнуть „нелепые слухи“. И. И. Шишкин язвил, а Верещагин старался отмалчиваться или отделываться ничего не значащими фразами, не опровергая и не подтверждая фактов. В. С. Крюков, желая смягчить впечатление от русских неудач на войне, а также возражая против указаний на российское неустройство, репрессии и т. п., обыкновенно ссылался на пример Германии, где преследовали социалистов:

— Вот вам и парламентская страна... а что там делает Бисмарк?

— Ну, ты, Валерьян, оставь свою брехню! Сядешь в лужу...—обыкновенно обрывал Крюкова И. Н. Бочаров.

Русско-турецкая война не оправдала ни надежд русского общества, ни тех ожиданий на внутренние реформы, которые казались необходимыми. В то же время военные неудачи, хотя война в общем была победоносная, вызвали сомнение в непобедимости русской армии; пошатнулась уверенность не в русском солдате, а в командном составе, который при деспотическом режиме не может быть на надлежащей высоте. Брат Илья и его приятель В. И. Насилов говорили:

— Если с турками справились, что называется, через пень-колоду, то с немцами в случае войны нам придется плохо. Со времени севастопольской войны мы ничему не научились, а современные интенданты в своих хищениях перещеголяли даже своих севастопольских коллег.

Война отодвинула на задний план все другие интересы. В обществе говорили о войне, об интригах „англичанки“, „коварном Альбионе“... Только „печальник народного горя“, отвлекая мысли от войны, приковывал к себе всеобщее внимание, в особенности молодежи.

IV

Похороны Н. А. Некрасова и открытие памятника на его могиле

Некрасов был болен уже два года. Для меня, переходящего в юношеский возраст, „печальник народного горя“ был самым понятным и любимым поэтом. Многие стихотворения его я знал наизусть. Заключение „Парадного подъезда“, „Волга, Волга, весной многоводной...“, „Коробейники“ я пел вместе с другими.

Прошло лето 1877 г. Известия о болезни стали тревожнее. Среди студентов и курсисток, товарищей братьев и подруг сестер, разговоры о Некрасове стали особенно часты. Надежда на выздоровление исчезла; роковой конец приближался. Я заучивал наизусть „Последние песни“ и часто декламировал:

Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей...

Подходило рождество. Известия в газетах о состоянии здоровья поэта звучали безнадежностью. Братья и их товарищи, а по примеру их и я сам, заходили в подъезд дома на углу Литейного и Бассейной, где помещались „Отечественные Записки“, и жил Некрасов, и справлялись у швейцара о здоровьи поэта. Это делали не одни мы, а и многие другие. Швейцар говорил, что студенты дежурят у подъезда.

Наступило рождество... газет не было. На второй день братья просили меня сходить на Литейный и узнать о Некрасове. В подъезде я встретил группу студентов и курсисток, которые сказали мне:

— Плох, очень плох... Едва ли переживет праздники...

На другой день, 3-й день праздника, поздно вечером забежал к брату его товарищ, студент-технолог:

— Некрасов умер... Я с вечеринки, которую мы прервали и решили оповестить товарищей.

Но предупреждать было не нужно: на другой день вышли газеты с некрологом поэта. В Технологическом Институте в столовой состоялась сходка, на которой решено было принять участие в похоронах. Мы, несколько подростков, преимущественно ученики городского училища, собрали небольшую сумму денег, купили металлический венок, на ленте которого сделали надпись—„Любимому писателю от детей". Хотели написать—„от учеников городского училища", но нам посоветовали написать—„от детей".

Рождество 1877 года было чрезвычайно холодное. 30 декабря, несмотря на жестокий мороз, с раннего утра на Литейном собралась публика, преимущественно студенты, курсистки, гимназисты. Позднее стали подходить писатели и общественные деятели. Многие депутации были с венками. Живые цветы на венках от мороза поблекли, съежились, листья свернулись, многие венки серебрились тонким слоем инея. Морозный туман окутывал Петербург, и у подъезда горели уличные фонари. Часам к 9-ти Литейный был заполнен публикой. Депутации впереди похоронной колесницы выстроились вплоть до Итальянской улицы (нынешняя улица Жуковского); нас с венком „от детей" поставили ближе к гробу. Дорогой пело несколько хоров.

На Владимирской улице появились конные жандармы, которых раньше не было. На пути экипажи останавливались или сворачивали в ближайшие улицы. Процессию никто не обгонял. На тротуарах стояли толпы, но значительно меньше, чем позднее при похоронах Достоевского и особенно Тургенева. Хоронили Некрасова в Ново-

девичьем монастыре. На кладбище также собралось значительное число пришедших отдать последний долг писателю. Собор монастыря, где отпевали Некрасова, был переполнен. Служение, кажется, было архиерейское. В церкви говорили два священника, а на могиле было сказано несколько речей писателями и студентами. Одну из первых речей сказал Ф. М. Достоевский и поставил Некрасова рядом с Пушкиным и Лермонтовым.

Кто-то крикнул:

— Нет! Выше, выше Пушкина.

Мы подхватили этот возглас и на несколько моментов прервали речь Достоевского. Но Достоевский вновь подтвердил высказанное мнение, и ему уже никто не возражал.

От могилы разошлись довольно поздно. Похороны произвели большое впечатление. Братья говорили, что таких похорон в России еще не бывало. Это верно: похороны Некрасова были первыми похоронами, в которых образованное общество приняло участие, и в довольно широких размерах. Но народ на похоронах „печальника народного горя" отсутствовал. Не было и рабочих.

Но через четыре года, когда на могиле Некрасова освящали памятник, я уже видел значительную группу рабочих.

Это было в ясный солнечный весенний или летний день. Я пришел на кладбище монастыря, когда уже шла литургия. В церкви было много молящихся и среди них литераторов и ученых. Я прошел к могиле. Здесь все было приведено в порядок и усыпано желтым песком. У подножия памятника, покрытого полотном, лежали цветы и венки. Венки висели и на решетке могилы, и на соседних памятниках, а некоторые из присутствовавших держали венки в руках. Кто-то предложил огласить надписи на лентах. Я стал читать. На одном венке от каких-то студентов были стихи Некрасова:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!..

— Ну, эта надпись ни к чему,—сказал какой-то господин.

— Почему ни к чему?—спросил я.

— Да так ни к чему... Ленты нужно убрать.

Я запротестовал, меня поддержали другие. Слово за слово, я разразился горячей речью о великом значении Некрасова, о его любви к народу, о борцах за народ. Это была моя первая публичная речь, вылившаяся невольно для меня. После речи уже никто не требовал убрать ленты. Ко мне подошли два студента и посоветовали мне незаметно уйти. Пока я спрашивал, зачем это нужно, а они говорили о шпионах, приставе и т. п., из церкви вышли духовенство и молящиеся. У памятника собралось много народу. Немолодой студент, воспользовавшись этим моментом, втолкнул меня в группу студентов, взял за руку и незаметно вывел меня из толпы. Мы с ним вышли из монастыря, прошли некоторое расстояние пешком, а затем наняли извозчика. Студент объяснил мне, что тот господин, который требовал убрать ленты, потом говорил с приставом, и меня за мою речь могут арестовать.

— Но теперь я спокоен: за нами никто не следит, и вы теперь можете итти домой, но впредь будьте осторожнее. Без толку нечего пропадать.

У Технологического Института мы слезли с извозчика и разошлись. Я благополучно дошел до дому. Насколько основательно было опасение студента, я не знаю, но речь моя была неосторожна и не для публичного произнесения. Она, повидимому, произвела впечатление. Об этом мне говорили товарищи по Учительскому Институту, а года через два, когда я поступил учителем в училище Тименкова-Фролова, учительница женского отделения того же училища А. И. Сивкова, познакомившись со мной, припомнила мою речь при открытии памятника на могиле Некрасова и удивилась, что после такой речи меня допустили к учительству.

— Вы тогда совсем мальчиком были. Я испугалась за вас и следила за вами, но не заметила, как вы ушли. Думала, что вас уже арестовали. Очень рада, что вы

уделили.—И тотчас же добавила:—Вы не для нашего училища, здесь вам будет тяжело. Порядки и люди старого покроя. Будьте осторожны.

Впоследствии Сивкова оказала не мало услуг революционному делу.

V

В. М. Гаршин и Н. С. Дрентельн

Полудеревенская жизнь в Гавани привлекала товарищей старших братьев. Брат Павел учился в Ларинской классической гимназии, а Илья в 7-й реальной гимназии, преобразованной затем в Первое реальное училище. По праздникам у нас собиралась молодежь. Было шумно и весело. С первого класса Илья был однокашником Н. С. Дрентельна, впоследствии известного физика, и В. М. Гаршина. К их же компании принадлежал Тиц. Все они вместе высидели в интернате гимназии 7 лет и потом, когда разошлись по высшим учебным заведениям, то не прерывали между собой связи. Брат и Гаршин были особенно дружны между собой. В V или VI классе они снялись вместе на фотографической карточке. Гаршин и Дрентельн часто бывали у нас, нередко ночевали, укладываясь спать в сенях или в сарае, так как в нашей квартире и мы, 10 человек, едва умещались.

Насколько беззаботен, весел и изобретателен на всевозможные выдумки был Дрентельн, настолько в большинстве случаев был сумрачен, грустен и молчалив Гаршин. Наружность обоих была различная: Дрентельн довольно полный, светлый шатен, даже блондин, с румяным широким лицом, толстыми губами и носом, волосами, стоящими вихрами. Лицо—характерное для всех Дрентельнов.

Образ Гаршина ярко сохранился в моей памяти: красивый, смуглый брюнет, с глубокими грустными глазами, которые положили на его лицо отпечаток грусти, даже пе-

чали, редко улыбавшийся и не принимавший участия в играх. Гаршин, когда приходил к нам, брал какую-нибудь книгу и уходил в сад или играл с кем-нибудь в шахматы. Катались ли мы на лодке, шли ли купаться, Гаршин не расставался с книгой. Он плохо плавал и высказывал сожаление, что не может купаться с нами в порту, когда мы с башенки Скронспицы через каменный парапет бросались в воду (вперед ногами, а не головой), и нас уносило быстрым течением, но мы выныривали из воды, круто поворачивали из полосы течения направо за мол и выплывали на тихое место. Гаршин стоял и тихо улыбался, глядя на нас. Эта улыбка делала его лицо еще более печальным. Чем увлекался Гаршин, так это катаньем с гор зимой. Он готов был целый день таскать сани, скатываться на них с горы и врезываться в сугроб снега. На святках Н. С. Дрентельн выдумывал костюмы, составлял группы; костюмы комбинировались из разных вещей гардероба, цветной бумаги, рогож или небольших кусков материи, которую давала нам мать, но с тем, чтобы мы не резали ее, а только сметывали. Гаршин и тут проявлял мало активности. Он надевал что-нибудь вроде домино или тальму и маску. Он не отставал от нас и ходил из дома в дом до утра, но редко танцовал, а садился и смотрел на танцующих.

Только раз помню, когда Гаршин был бесконечно весел. Это было также на святках. Гаршин принес костюм Пьеро, вымазал лицо вазелином, густо напудрил его, положил красные пятна на щеки, нос и на лоб над глазами. На этот раз он танцовал, дурачился и даже смешил других, но на другой день он был опять грустен. В юношеские годы он критически относился к своим поступкам и в действиях проявлял своего рода нерешительность. „Гаршин—Гамлет“, говорил про него Дрентельн. Товарищи относились к Гаршину хорошо, я сказал бы—бережно: все они как будто бы ждали катастрофы. Она и случилась, когда Гаршин был в старших классах гимназии. С ним сделался первый припадок его нервной или психической болезни, и он был отправлен в больницу. Болезнь дли-

лась довольно продолжительное время. Товарищи сочувствовали Гаршину, ходили его навещать и радостно приветствовали его, когда он вернулся из больницы в гимназию. Мои родные также печаловались за судьбу Гаршина и обрадовались, когда брат Илья в воскресенье пришел из интерната и сообщил, что Гаршин выздоровел.

— Слава богу,—сказала, перекрестившись, моя мать.— Ох, не жилец на этом свете Всеволод. Таких бог рано берет к себе. Илья, берегите его...

Дрентельн и неунывающий Тиц, когда говорили о Гаршине, то становились серьезными. Дрентельн утверждал, что у Гаршина больная душа, расколотая на две части. Эта раздвоенность проявлялась и в ученических сочинениях, которые писал Гаршин в гимназии, где считался по сочинениям лучшим учеником.

— Поверь мне,—говорил Дрентельн брату,—Гаршин или уйдет в революцию, а то и в монахи, или выкинет такую штуку, что мы ахнем.

В 1876 г. брат и его товарищи кончили гимназию. Брат поступил в Технологический Институт. Гаршин перешел в Горный Институт, а Дрентельн, если я не ошибаюсь, стал готовиться к дополнительному экзамену в университет. 7-я гимназия была реальная, и классических языков, требующихся для университета, в ней не преподавали. Дружеские отношения между товарищами сохранились и после гимназии. Гаршин и Дрентельн продолжали бывать у нас, когда мы жили на Песках и переживали русско-турецкую войну и революционные выступления „Народной Воли“. Когда началось герцеговинское восстание, Гаршин стал как будто бы еще более нервным. Самоуглубление, так характерное для него, стало интенсивнее. Интенсивнее проявлялась и раздвоенность души. Он с особенной тревогой следил за разрастающимся восстанием. Когда же в Сербию отправились добровольцы, то Гаршин стал чаще и чаще поговаривать о том, что и он поедет на Балканы, но говорил как-то нерешительно.

— Гаршина не поймешь: хочет и не хочет ехать. Говорит, нужно ехать, долг каждого бороться за свободу, а в



то же время отрицает войну. Считает, что проливать кровь нельзя, а война сплошное убийство,—так характеризовал брат Илья душевную борьбу Гаршина.

Илья отговаривал Гаршина от поездки, а Гаршин горячился, возбужденно возражал брату и даже сердился. Помню, зашел к старшему брату Павлу учившийся с ним на I курсе в Учительском Институте. А. К. Пресняков, тогда уже нелегальный, а впоследствии повешенный, и, услыхав спор между Гаршиным и братом, заметил после ухода Гаршина:

— Гаршина не отговаривайте, пусть едет на Балканы. Многие из революционеров собираются туда, а некоторые уже поехали. С этим движением ничего не поделаешь: оно выливается в стихийные формы. Поездка встряхнет Гаршина.

Россия объявила войну Турции... Как-то приходит вечером брат Илья и говорит:

— Гаршин решил итти добровольцем на войну. Я, Тиц и Дрентельн убеждали его не делать этого шага: указывали ему, что при первом же сражении, когда он увидит кровь, изувеченных людей, будет раскаиваться. Но Всеволод и слушать не хочет, твердит одно: не могу не итти, должен итти. Авось одумается...

Но Гаршин не одумался. Некоторое время он не ходил к нам. Брат и Дрентельн навещали его и говорили, что Всеволод хлопочет о поступлении в какой-нибудь полк.

Наконец Гаршин пришел к нам в солдатской форме, форме егерского гвардейского полка, с выпушками вольноопределяющегося на погонах...

— Ну, Илья, еду на Балканы. Знаю, не одобряешь, но я иначе не могу...

— Нет, Всеволод, мы не осуждаем тебя. Знаешь, как все мы любим и ценим тебя. Дай бог вернуться тебе здоровым.

Шинель на Гаршине сидела неуклюже, башлык был заткнут за пояс „по-гимназически“,—так определил Дрентельн, фуражка без козырька придавала лицу Гаршина

еще более печальное выражение; но зато глаза не горели, а затеплились каким-то особенным огоньком.

— По глазам видно,—заметила сестра Вера,—что Гаршин обрек себя на жертву.

Это, пожалуй, так было и на самом деле. Гаршин желал пережить и переиспытать все то, что переживает русский мужик в наиболее тяжелый для него момент, когда он идет солдатом на войну, перестрадать все его лишения и страдания. Это был вывод из народнического миросозерцания Гаршина, который стал в коллизию с сознанием, что война—коллективное убийство, что, идя на войну, он, Гаршин, нарушает принцип человечности. Вот эта раздвоенность души и мысли ясно выявлялась в тех беседах, которые он вел вечером у нас перед отъездом на войну. Осмыслить поездку Гаршина его товарищи не могли, да и сам Гаршин, решивши „быть", на самом деле продолжал стоять перед вопросом: „быть или не быть".

С дороги Гаршин написал письмо, в котором делился впечатлениями преимущественно о русском солдате, который, не мудрствуя лукаво, идет делать нужное дело и, что важнее, правое дело. Совесть у него спокойна, а если сердце болит, то болит о хозяйстве, о семье...

С войны он не писал. Дрентельн, пользуясь связями, узнал, что Гаршин ранен, и рана серьезная, но не опасная... „только в психике не совсем ладно", так сказали Дрентельну в каком-то учреждении. Гаршин вернулся офицером, но скоро вышел в отставку. О войне он почти не говорил, и мы, щадя его душевный покой, не расспрашивали его. Молчал он и о том, что пишет и печатает рассказ. Появление рассказа „Четыре дня" для школьных товарищей Гаршина было до известной степени неожиданностью. Они восторгались рассказом и рассматривали его, как протест против войны. Только Дрентельн находил, что рассказ Гаршина, хотя и великолепен, но в нем что-то душевно неладное.

Это „неладное" выявилось опять в припадке болезни Гаршина. На этот раз припадок скоро прошел. Появив-

шиеся новые рассказы укрепляли Дрентельна в том, что душевное неравновесие Гаршина не смягчается, а обостряется.

Приехал в Петербург Тургенев и знакомился с молодыми писателями. Гаршин стал покойнее, даже весел. Помню вечер, на другой день после чая у Г. И. Успенского, где были Гаршин и Тургенев. Гаршин много рассказывал нам о встрече с Тургеневым, был оживлен и даже пошучивал:

— Изучаем и испытуем друг друга...

Тургенев на него произвел хорошее впечатление, и Гаршин отзывался о нем даже восторженно.

Но и во время пребывания в Петербурге Тургенева у Гаршина не было душевного равновесия. Брат и Дрентельн не раз обсуждали вопрос, пессимист или оптимист Гаршин, и приходили к выводу, что он пессимист. Впоследствии, когда вышла „Attalea Princeps", любящий жизнь Тиц определил Гаршина: „ипохондрик, потерявший веру в будущее".

Но это неправильно. Гаршин не был ипохондриком. Его меланхолия была результатом его психического настроения и той душевной раздвоенности, которая создавалась условиями русской жизни. По своим убеждениям он был народник-идеалист, высоко ставил моральную сущность человека. Вот эта-то мораль при его психической неуравновешенности создавала у него гамлетовское „быть или не быть". Идеал чист и высок, а средства достижения его нередко не укладывались в рамки моральных требований.

Русская действительность угнетала Гаршина, и он не находил выхода, хотя всегда готов был на жертву. Он мог доходить до высокого пафоса. Прекрасной иллюстрацией этого пафоса может служить визит Гаршина к М. Т. Лорис-Меликову.

Это было зимой 1880 г. И. О. Млодецкий, стрелявший в Лорис-Меликова, был приговорен к повешенью. Приговор на Гаршина произвел потрясающее впечатление. Он не спал, метался, не находил места, то и дело забегал к брату и говорил, что пойдет к Лорису ходатайствовать о помиловании. Ни брат, ни Дрентельн не отговаривали его: „Порыв Гаршина был настолько высок, что язык не

поворачивался его отговаривать и говорить, что из хождения к Лорис-Меликову ничего не выйдет",—так брат передал мне свои впечатления о Гаршине.

После бессонной ночи, ранним утром, чуть ли не в 6 часов утра, Гаршин явился в приемную Лорис-Меликова, убедил адъютанта передать графу визитную карточку и был принят. Лорис дал какие-то обещания. После визита Гаршин забежал к брату; настроение его как бы упало, он некоторое время пролежал на диване и не прощаясь ушел, чувствуя себя ужасно усталым. Брат строил предположения о том, как поступит Гаршин, если Млодецкий будет казнен, и не исключал возможности, что Гаршин выкинет что-нибудь по адресу Лориса. Но казнь Млодецкого как будто бы не вызвала никакой реакции в Гаршине. По словам брата, он как бы одеревянел; о казни Млодецкого ни он, ни его товарищи с ним не говорили. Вскоре после этого факта Гаршин был в Москве у полицмейстера Козлова, убеждал его поднять вопрос об отмене смертной казни, а потом поехал и к Л. Н. Толстому, в Ясную Поляну.

В 1881 г. в Харькове с ним был второй припадок, от которого он скоро оправился и в 1882 г. переехал в Петербург, женился, поступил на службу в контору Съезда железных дорог.

С моим поступлением в интернат Учительского Института я редко уже встречался с Гаршиным. Он женился, вошел в литературные круги и реже стал бывать у нас, да и брат уехал на фабрику в Новгородскую губернию, где прожил около года. Гаршин как бы отошел от своих гимназических товарищей, хотя он всегда радостно встречался с ними; но женитьба и литература все-таки отвлекли его от товарищей.

Кажется, зимой 1881/82 года Гаршин зашел к брату, и я с ним разговорился: мы говорили о революции, о партии „Народной Воли". К террору Гаршин относился не особенно сочувственно, но восторженно говорил о народовольцах:

— Мне хотелось бы воплотить этих людей в художественные образы, но это выше сил моих, да, к сожалению, с

революционерами я почти не встречаюсь и боюсь встречаться с ними.

Я недоуменно посмотрел на Гаршина.

— Не за себя боюсь... Ты знаешь, что временами я болею. И вот в эти-то минуты болезни я могу наговорить бог знает что... Нет, мне не место там, где нужна конспирация...

Я впервые услыхал от Гаршина мотивы, почему он держался в стороне от революции...

Через год или полтора я еще раз встретился с Гаршиным.

У П. Ф. Якубовича было какое-то дело к нему. Мы вместе зашли к Гаршину. Внешность его изменилась: и так худощавый, он еще более похудел, глаза ввалились, и он как бы потемнел; в костюме была заметна небрежность и даже некоторая неряшливость. Он расспрашивал о моих родных, жалел, что давно никого не видел, и просил всем кланяться и передать, что он никого не забыл.

Выйдя на улицу, я заметил Якубовичу, что Гаршин после того, как я его видел последний раз, сильно изменился и оставил на меня тяжелое впечатление. Якубович безнадежно махнул рукой и заметил:

— Совершенно больной человек...

Гаршина я больше не видел.

Лет через пять, когда я был в ссылке, пришла телеграмма о трагической кончине Гаршина, а затем я получил письмо от брата, описавшего подробности смерти. В письме брат высказывал сожаление, что за последнее время школьные товарищи Гаршина почти не встречались с ним, и он ни у кого не бывал.

„Не знаю,—писал брат,—могли ли мы остановить Всеволода, даже если бы и встречались с ним. Думаю, что он бросился в пролет лестницы под влиянием какого-то аффекта, а отнюдь не обдумав это. Случилось то, что нужно было ожидать, и что не раз предсказывал Дрентельн“.

И брат, и Дрентельн, с которым я часто встречался, сохранили о В. М. Гаршине теплые воспоминания.

Н. С. Дрентельн как-то сказал мне, что образ Гаршина „крепко“ запечатлелся в его памяти, как никого из других товарищей, хотя после смерти его прошло уже 20 лет, и заметил:

— Когда мне приходится сделать какой-нибудь шаг морального характера, я думаю: а что сделал бы на моем месте Гаршин?

VI

Отголоски революционных событий

В Гавани о революционном движении я ничего не слыхал и не помню даже разговоров о политике между братьями. Но с переездом семьи на Пески, когда мне было уже 13—14 лет, в моей памяти довольно отчетливо сохранились впечатления об отдельных революционных актах и студенческих волнениях. Правда, некоторые из них, напр. бегство кн. П. А. Кропоткина, отпечатались в моей памяти так, как об этом событии говорила толпа, но другие отфиксировались довольно правильно. Не столкнуться с этими событиями было невозможно. Многие из них захватывали весь Петербург, о них говорили и в обывательских кругах. В нашей же семье они обсуждались благодаря уже тому, что мы близко соприкасались с студенческой средой.

Старший брат, Павел, которому в 1876 г. было двадцать три года, уже окончил курс в Учительском Институте и был знаком с некоторыми революционерами; его товарищи, учителя, настроены были более или менее революционно. Брат Илья был студентом Технологического Института, который в конце 70-х годов считался среди высших учебных заведений самым революционным. Сестра Вера училась на Надеждинских курсах, а Антонина слушала лекции на Еленинских акушерских курсах. У нас бывали студенты и курсистки; попадала к нам и нелегальная литература, которую и я читал.

Из событий 1876 г. у меня сохранились воспоминания о попытке бегства Ковалика и Войнаральского, бегстве Кропоткина и демонстрации перед Казанским собором.

Брат Илья нам рассказал, что из Дома предварительного заключения пытались бежать два важных политических заключенных. Они уже спускались по веревке (на самом деле на связанных простынях) и, вероятно, скрылись бы. Но в это время проезжал на извозчике какой-то офицер. Он поднял тревогу, и беглецы были пойманы. Потом офицер узнал, что пытались бежать не уголовные, а политические, и он ужаснулся своего предательства. Рассказывали, что он был у родных пойманных заключенных и просил у них прощения, говоря, что факт его предательства будет всю жизнь лежать тяжелым камнем на его совести. Я ясно помню, что брат говорил об офицере, а не об инженере, как это было в действительности.

Более ярко сохранились в моей памяти впечатления по поводу побега кн. П. А. Кропоткина.

Николаевский госпиталь, из которого бежал Кропоткин, находился на той же Слоновой улице на Песках, где и Рождественское городское училище, в котором мы жили. От нас до госпиталя ходьбы было минут десять.

Пришел взволнованный сторож и сообщил брату, что у госпиталя толпа народа. Говорят, что часа два тому назад какие-то люди увезли из госпиталя великого князя, который там лечился.

— Что за чушь городите, Антоний, какого великого князя? Да зачем ему лечиться в госпитале?

— Он был заключен в крепости, а потом заболел, и его перевезли в госпиталь; сторонники же князя воспользовались тем, что в госпитале плохо сторожат, и князя похитили.

Я побежал к госпиталю; толпы народа я не видел, но любопытные стояли кучками и оживленно обсуждали событие. Полиция, которой обыкновенно у госпиталя не было, на этот раз разгоняла публику.

— Он-то в одном белье как выскочит за ворота, да в коляску, ну и ускакал. А за ним солдат из ворот; увидел, что князя нет, упал на землю и завыл...

— Кто ускакал?

— А кто его знает... Князь какой-то, из важных!

Я так и не узнал, кто бежал, и только через несколько дней брат Илья, вернувшись из Технологического Института, рассказал нам, что бежал кн. Кропоткин, Рюрикович по происхождению, сильно замешанный в революционных делах.

Версия, что из Николаевского госпиталя увезли великого князя, держалась долгое время среди лавочников, дворников и простого народа. Поводом к ней послужили слухи, упорно ходившие в 70-х годах в Питере среди широких слоев населения, что в крепости заточен великий князь Константин, брат Николая I.

Демонстрация у Казанского собора 6 декабря 1876 г. вызвала большие толки среди населения. Цели этой демонстрации ясно не представляли себе даже многие студенты. В первый день говорили, что эта демонстрация произведена в память декабристов. Первое объяснение этой демонстрации дал мне сторож Антоний, сказавший, что бунтовщики требовали землю и волю.

— Вот только не знаю, для кого. Говорят, для народа, а другие думают, что для господ, у которых не стало земли.

Студенты, бывавшие у нас, разъяснили мне цель этой демонстрации, и некоторые из них выражали сожаление, что не знали о демонстрации, а то бы и сами пошли...

Среди товарищей братьев много говорили об арестах, которые шли по всей России, говорили о готовящемся большом процессе (193-х), а когда он начался, стали передавать подробности. Все, что происходило на суде, быстро делалось достоянием публики. Я ходил к Окружному суду; улицы у суда с внешней стороны ничем не отличались от обычных дней, только наряды полиции были усилены. Но во дворе суда и напротив его на патронном заводе были спрятаны большие наряды полиции и жандармов. Много говорили о протесте подсудимых, о речи Мышкина и других подробностях процесса. Речь Мышкина я читал в рукописи, кажется, еще во время процесса, ко-

торый продолжался три месяца. Суровый приговор с каторгой и ссылкой осуждался в кругу товарищей братьев.

Я тогда же заучил юмористическое стихотворение, в котором зло высмеивался прокурор Желиховский:

Я скажу вам предварительно,
Что защитники губительно
На преступников воздействуют,
Преступленьям их содействуют!.. и т. д.

Вскоре появилось в рукописи и стихотворение Н. А. Некрасова, посвященное участникам процессов 50-ти и 193-х:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...

Вообще процесс 193-х произвел на общество большое впечатление.

О покушении Веры Засулич я узнал в тот же день в Александринском театре. Публика свободно обсуждала это событие, при чем некоторые говорили, что это ответ на приговор по процессу 193-х; но через несколько дней уже стали говорить, что В. И. Засулич мстила градоначальнику Ф. Ф. Трепову за наказанного в Доме предварительного заключения по его приказу розгами Боголюбова. Когда судили В. Засулич, и присяжные совещались по вопросу о виновности ее, я вместе с другими ждал приговора. Полиция нас отгоняла от суда, но мы уходили в соседние улицы и снова возвращались. Толпа росла... Вдруг кто-то крикнул: „Оправдана! Ура!“—и громкое „ура“ понеслось по улице. Через несколько моментов опять раздались крики „ура“. Я увидел, как толпа, преимущественно студенты, несла на руках какого-то господина.

— Это Александров, защитник Веры Засулич.

Я кричал и ему „ура“... Кто-то крикнул:

— Сейчас освободят Засулич. На Шпалерную!

Побежал на Шпалерную и я. Публика была оживлена, радостно настроена. В руках у двух, у трех человек я увидел цветы, которые передавали к воротам Дома предварительного заключения. Появилась карета, пробиравшаяся через толпу к воротам шагом. Из ворот тюрьмы вышла В. Засулич; ее подняли на руки и так понесли до кареты, которая медленно продвигалась через толпу. Через некоторое время прискакали жандармы. Началась перебранка с ними, шум, опять „ура"... Какой-то выстрел... Общая суматоха. Беспорядочное движение толпы: одни бежали и теснились к воротам, другие бежали от ворот. Не помню, как я очутился у Невы, где было спокойно.

Публика бежала к Окружному суду. Уже сильно смеркалось. Я пошел опять на Шпалерную. Шли группы студентов, оживленно обсуждая событие, и от них я узнал, что Засулич освободили, она уехала, что убит какой-то молодой человек.

Первые дни после процесса в студенческих кругах только и было разговору об этой демонстрации. Говорили, что толпа отбила Засулич у жандармов, что Г. П. Сидорацкий убит выстрелом полицейского, что много народу арестовано. Сообщения газет о процессе и демонстрации читались с захватывающим интересом. В газете „Северный Вестник" появилось письмо Засулич о том, что она готова снова предстать перед судом, но только судом присяжных.

После процесса В. Засулич начало ходить по рукам стихотворение А. Л. Боровиковского —

Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский
Суди, судья, но проще и скорей...

А за ним появилось и стихотворение Я. П. Полонского „Узница".

Демонстрация при оправдании В. Засулич напомнила мне другую, бывшую незадолго перед ней, демонстрацию на похоронах студента Подлевского, участника процесса 193-х, заболевшего в Доме предварительного заключения,

откуда он был перевезен в клинику Вилье при Медико-Хирургической Академии. Здесь он и умер. О кончине его стало известно студентам, и они решили явиться на похороны. Но полиция ночью перевезла тело в Николаевский госпиталь, откуда бежал П. А. Кропоткин. Пришедшие на похороны студенты, узнав, как тогда говорили, о „похищении" тела, отправились в госпиталь, в часовне завладели телом и понесли его на Выборгскую сторону. Я узнал о том, что студенты кого-то хоронят и направились на Фурштадскую улицу. Я побежал и нагнал процессию почти около Окружного суда. Тело несли на руках и пели „Вечную память". Перед Окружным судом тело подняли на руки с возгласами—„вот жертва вашего правосудия", а затем пропели стихотворение П. Л. Лаврова, написанное им на смерть студента Чернышева:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил:
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...

Священник, сопровождавший тело, скрылся от Окружного суда. Гроб студенты понесли на Выборгскую сторону и там передали родственникам покойного для погребения.

В 1877—78 г. мне пришлось познакомиться с представителем марксистского движения. Конечно, в те времена не только я, но и мои братья не представляли себе, что В. И. Насилов является прототипом будущих социал-демократов. Он кончил или учился в каком-то германском политехникуме и, когда я с ним познакомился, слушал лекции в Институте Путей Сообщения. В. И. Насилов был братом сослуживца моего старшего брата и жил в том же Рождественском училище, где жили и мы. Насилов часто заходил к нам играть в шахматы. Он редко принимал участие в спорах на политические темы, а если высказывался, то неохотно, иронически относился к народничеству, отрицал в истории героев и героическое, о мужике он говорил пренебрежительно, а все планы

строил на рабочих. Особенно запечатлелся у меня в памяти его разговор по поводу убийства шефа жандармов Мезенцева. Это известие первым принес я. Я был у Гостиного двора и видел, что публика стремится на Михайловскую улицу. Я побежал туда же, а затем на Итальянскую, точнее к Михайловскому скверу. Здесь были толпы народа и мятущаяся полиция. Из разговоров я узнал, что заколот кинжалом шеф жандармов Мезенцев, и убийцы скрылись на рысаке. Я пришел домой и рассказал о событии. Насилов, игравший с братом в шахматы, стал меня расспрашивать и заметил, что подобные факты ни к чему не приведут. Брат Илья возражал Насилову, доказывая, что факты, подобные убийству Мезенцева, неизбежны в условиях русской жизни. Насилов стоял на своем, указывая, что событие, если оно не созрело, нельзя приблизить, и нельзя его отдалить, если оно назрело.

— Геройские выступления отдельных личностей ни к чему, а нужны реальные силы, способные произвести переворот.—Насилов указывал, что в истории действуют такие же нерушимые законы, как и в области точных наук.

Позднее Насилов не раз высказывался в том же духе и утверждал, что русский мужик неспособен на революцию, в лучшем случае он произведет бунт—и только. Пока не разовьется русская промышленность, пока не будет кадра рабочих, пролетариата, до тех пор возможны бунты, а не революция. Он отрицал русскую буржуазию, а всех промышленников и купцов брал под скобку „кулака". Он был поклонник К. Маркса и постоянно цитировал его. Некоторые революционные факты он называл анекдотическими, как, напр., покушение Л. Мирского на шефа жандармов Дрентельна.

Положим, это покушение в нашем кругу приняло несколько юмористический характер. Пришел Н. С. Дрентельн и рассказывает:

— Сейчас я от дяди (шеф жандармов Дрентельн был родным дядей его). Он, как увидел меня, затопал ногами, замахал руками и кричит: „Революционер! И ты с ними! Пошел вон!.. Нет, я сгною тебя в тюрьме".

Думал выразить дяде радость, что остался цел, а он меня выгнал. Ну, махнул я рукой и ушел.

Через несколько дней отношения между дядей и племянником восстановились, но дядя не любил ходить в семью Н. С. Дрентельна, отец которого, брат Дрентельна, уже умер; не любил, потому что он там мог встретить студентов, которые, по мнению шефа, „все революционеры и нигилисты".

О покушении А. К. Соловьева на Александра II передавали так: А. К. Соловьев встретился с Александром II на Дворцовой площади, когда тот совершал свою обычную утреннюю прогулку, поклонился царю, а потом выстрелил. Александр II будто бы упал, а потом побежал. Соловьев хотел отравиться, проглотил циан-кали, который был в ореховой скорлупе; но это заметили, насильно дали Соловьеву рвотного, и он был спасен для того, чтобы потом его казнить. Это покушение в общем произвело слабое впечатление, и о нем мало говорили. О казни Соловьева на Смоленском поле передавал нам дядя Ваня, брат матери, который в момент казни проходил через Смоленское поле, и с ним сделалось дурно. Его привезли в участок и там допрашивали, почему с ним сделалось дурно, но убедились, что дядя Ваня—заправский гаванский чиновник и верой и правдой служит царю.

Не мало тревоги причиняли матери студенческие волнения, которые к концу 70-х годов стали все чаще и чаще повторяться. В зиму 1878—79 года сходки были часты, но для брата Ильи все сошли благополучно. В 1878 г. он был на общей сходке всех высших учебных заведений в анатомическом театре Медико-Хирургической Академии. На сходку явился обер-полицмейстер Зуров, встреченный криками: „снимите каску". Зуров снял каску. Он держал речь, предложив студентам расходиться и удалиться. Но студенты не разошлись и довели сходку до конца, а когда вышли из Академии, на них напали казаки и полиция и многих избили. Арестованных студентов посадили в Московские казармы, куда петербуржцы доставляли им съестное, фрукты, цветы. К тому же времени относится

демонстративное шествие студентов к наследнику, будущему Александру III. Студенты вышли из Медико-Хирургической Академии и дошли до Троицкого моста. Полиция пыталась развести мост и уже стали отводить понтон. Но студенты перепрыгнули на мост и снова навели его и через Марсово поле, по Фонтанке, дошли до Аничкова моста, где их встретил градоначальник, принял петицию и обещал передать ее по назначению.

Мой брат и его товарищи относились к петиции отрицательно и вышучивали студентов, которые считали наследника либералом. Петиция, как и нужно было ожидать, не дала никаких результатов.

Революционные факты, разговоры по поводу их, споры, нелегальная литература наталкивали меня на проклятые вопросы. Я много читал, думал, и в моем сознании происходил переворот. Если я прежде думал стать моряком, поступить в морское училище, то теперь я стал думать о том, чтобы найти такую профессию, которая дала бы мне возможность служить народу.

VII

Окончание городского училища. Подготовка к Учительскому Институту. С. Вартемяги. Финны и русские. Д-р Н. К. Чермак и С. Н. Флоровский

В 1878 году я окончил курс городского училища, и передо мною встал вопрос, который нужно было разрешить немедленно: держать ли экзамен в Морское Техническое Училище или через год, когда выйдут года, поступить в Учительский Институт. В первом случае нужно было начать готовиться немедленно, а во втором—лето можно было отдыхать. Уступая настояниям родных, я стал готовиться в Морское Техническое Училище и в августе поехал в Кронштадт на экзамены. Кронштадт произвел на меня впечатление сплошной казармы, скучного военного города. Перед экзаменами мы с матерью отслужили молебен в соборе. Я указал мамаше на образ „Благословение детей“ работы В. С. Крюкова. Среди детей один мальчик был написан Крюковым с меня. Мамаша осталась недовольна:

— На этот образ я не могу молиться. Ну как я буду молиться, когда ты на нем...

Я объяснял ей, что художники пишут образа с натуры.

— Вот и Николай-чудотворец на Николаевском мосту написан со сторожа Академии Художеств.

Но я не мог убедить мать... В Кронштадте мы покупали матросские галеты: сухие мне не нравились, но както матрос принес только что засушенные, почти еще горячие,—они были вкусны.

Экзамены сошли благополучно; но на медицинском осмотре я оказался непригодным для морской службы—я спутал цвета, на зеленом поле не мог отличить красного цвета: у меня признали дальтонизм, которого ни раньше, ни позже я не замечал у себя.

Техническое Училище улыбнулось, и я стал готовиться для поступления в Учительский Институт. Пришлось много заниматься. Занимался вместе с А. С. Яковлевым, моим одноклассником, который также выдержал экзамен в Институт, а затем держал экзамен в Морское Техническое Училище и поступил туда. Потом он перевелся в Константиновское военное училище, окончил две академии—артиллерийскую и Генерального штаба. Я тянул его в революцию, он не отказывался решительно и поддерживал со мной сношения. После моего ареста я потерял его из виду. Большую часть зимы я провел в с. Вартемягах, в 10 верстах от Парголова, по Финляндской железной дороге. Вартемяги—большое село, с прекрасным парком, прудами, лесом и дворцом, принадлежащим П. Шувалову, который часто приезжал, гостил в своем дворце и устраивал пиры. Среди вартемягских крестьян многие пережили крепостное право и не мало рассказывали о бывшей крепостной жизни. В общем крестьянам и тогда жилось сносно, а на рубеже 80-х годов они были зажиточные. В этом селе была земская больница и резиденция врача и фельдшерицы-акушерки. Последнюю должность занимала моя сестра Вера.

В Вартемягах я близко сошелся с земским врачом Н. К. Чермаком и его женой. Чермак был братом Л. К. Чермака, принимавшего участие в революционных делах и в конце 80-х годов сосланного в Сибирь. В 90-х годах Н. К. Чермак получил кафедру в Дерптском университете. В Дерпте скоро и умер. Жена его, А. В. Чермак переехала в Саратов и была одной из руководительниц женского движения и участвовала в организации „Лиги равноправия женщин“.

Чермаки имели на меня благотворное влияние. У них была хорошая библиотека. Я много читал. В этот год

я прочел Милля с примечаниями Чернышевского, I том Лассаля, Иванюкова „Обзор явлений, вытекающих из системы свободной конкуренции и социализма“, Шефле, всего Костомарова, Шера „Комедию Всемирной Истории“, сочинения о революциях Мордовцева и др. Чермак дал мне программу для самообразования, и я стал читать по ней. Читал я и I том К. Маркса, но он давался мне трудно, хотя я его и реферировал. Маркса я усвоил уже в Учительском Институте. Я присутствовал при амбулаторном приеме больных крестьян, помогал в аптеке приготовлять лекарства. Чермак и сестра выхлопотали в земстве средства на устройство передвижной библиотеки для крестьян; я работал и в этой библиотеке, а по праздникам в училище читал вслух крестьянам популярные книги.

В Вартемягах и при разъездах сестры и Чермака по округу (я часто сопровождал их) я познакомился с жизнью русских и финских крестьян. И те и другие жили, благодаря близости столицы, сносно. Избы и обстановка у финнов были лучше, чем у русских, и они были чистоплотнее.

Тяжелое впечатление производили „питомцы“ Воспитательного дома, которых было много по избам русских и финских крестьян. Бедные малютки являлись доходной статьей у крестьян, хотя за них платили пустяки. Смертность между ними была ужасающая. Сестра и д-р Чермак, на обязанности которых лежало наблюдение за питомцами, не раз писали в земство и в „ведомство императрицы Марии“ проекты об улучшении быта этих „незаконнорожденных“ малюток, но никаких результатов не было. Достигнув 7—10 лет, дети становились настоящими батраками у своих опекунов. Среди этих „батраков“, да и среди выживших взрослых питомцев, некоторые поражали интеллигентным видом и чертами лица, говорящими об их не крестьянском или финском происхождении.

К периоду жизни перед Институтом относится и мое „закаливание“. Я спал на тонком войлоке, а ночью, когда заснут другие, старался убрать из-под себя и его, спал без подушки, легко и просто одевался, ходил босиком и т. д. Перестал посещать театр, в виду того, что

он недоступен народу. Но это настроение продолжалось недолго, и я бросил „самоистязание", как говорили братья.

К этому же периоду относится пересмотр моего религиозного миросозерцания. Все мои родные с отцовской стороны были духовные. Родной брат отца был монахом в Александро-Невской лавре. С раннего детства я был воспитан в религиозном отношении твердо, исполнял все обряды, охотно посещал церковные службы. В Вартемягах мы бывали у местного либерального священника. Сыновья его учились в духовном училище и семинарии. Их свободное отношение к религии, часто даже ироническое, удивляло меня. Все они были мало религиозны, не соблюдали никаких обрядов. Такое отношение меня шокировало и в то же время пошатнуло твердость моих религиозных убеждений.

В 1878 г. я сблизился с С. Н. Флоровским, впоследствии мужем младшей из сестер Фигнер, Ольги, умершим после ссылки в 1905 г. в Ярославле. Наши семьи были давно знакомы друг с другом, и Флоровские у нас бывали еще в Гавани. Отец Флоровского был псаломщиком в церкви Конюшенного ведомства, а потом в церкви при дворце Николая Николаевича старшего. Сергей Флоровский учился в Петербургской духовной семинарии и был уже в философском или богословском классе. Сергей учился хорошо, был начитанным человеком и среди семинаристов считался философом. К религиозным вопросам он относился индиферентно, но никогда не кощунствовал, как это делали сыновья вартемягского священника. Он окончил блестяще курс семинарии и, несмотря на уговоры ректора, отказался поступить в Духовную Академию, а стал готовиться в Медико-Хирургическую Академию. Родители Флоровского также были недовольны переменой карьеры сына и мечтали видеть в нем будущего архиерея и даже митрополита. Я спросил Сергея, что заставляет его отказаться от духовного звания. Он пространно изложил мотивы, почему он не может быть духовным.

— Я по убеждению не могу быть священником. Я не неверующий, но обряды отрицаю. Знаешь, в православии

два течения; для вас, мирян, они незаметны, но мы, изучая богословие, догматику и др., знаем, что православие не является самодовлеющим. У него два течения—одно склоняется к протестантизму, а другое ближе подходит к католичеству. Со временем православие расколется, и одна часть ближе подойдет к протестантам, а другая к католикам. Это будет настоящий раскол—не чета Никоновскому. Я вышел из духовного звания, но если бы оставался в нем, то примкнул бы к левому, протестантскому, крылу. В наших богословских и церковных науках масса противоречий и неясностей. Вопросы о святых, как и обрядах, для меня разрешаются отрицательно: многих мы считаем за святых, а на самом деле их жизнь совершенно не святая, да и вообще в вопросе о святых—я протестант. Я не отрицаю учения Христа, многое признаю из апостолов. Но должен оговориться, что евангельские истины высказывались за много веков до Христа, а в евангелии и посланиях есть и то, что внесено значительно позднее. Монашества не признаю, а к духовному званию не чувствую призвания. Да могу ли я быть священником, когда на душе столько сомнений? Духовенство стало нетерпимым, как только явилась государственная церковь. И с этого момента в истории церкви много мрачных страниц, да и у нас в борьбе с расколом было не мало изуверства. Зная философию, я хочу изучить и естественные науки. Избираю профессию врача потому, что считаю, что врач, как и учитель, более всего необходим для народа.

Такие разговоры, жизнь монахов в Александро-Невской лавре и многое другое заставили меня пересмотреть и передумать мою детскую безыскусственную веру. Я не стал атеистом, но моя религиозность сменилась в вопросах веры индиферентизмом, религия стала для меня не столь необходимой, как это было раньше.

В летние дни, когда в садах началась музыка, я почти ежедневно вечерами ходил слушать военный оркестр в Летнем саду. Такой же оркестр играл в Таврическом саду, но мы предпочитали Летний, где собиралось много

публики. Вход в сад был бесплатный. Левый угол перед оркестром, все скамьи и стулья, занят был студентами и курсистками. На эти места другая публика не претендовала, и они оказались как бы абонированными студенчеством. Здесь, в левом углу, было весело, отсюда неслись и дружные аплодисменты, здесь же передавались разные новости, а в антрактах вели споры на общественные и литературные темы и делились впечатлениями от прочитанной книги, журнала, особенно „Отечественных Записок", выход каждого номера которых для нас, молодежи, составлял событие. Студенты комментировали щедринские „За рубежом", „Письма к тетеньке" и др., толковали о „мальчике в штанах" и „мальчике без штанов", о „торжествующей свинье" и др., стараясь все связать с современностью. В этом же углу назначались деловые, конспиративные и любовные свидания. Уголок жил особенной жизнью, здесь было шумно и весело. Люди быстро знакомились между собой, завязывалась дружба, а иногда дело доходило и до женитьбы.

Кажется, после 1 марта 1881 г. студенческий уголок в Летнем саду уничтожился. Музыка продолжалась, так же усердно посещалась публикой, на музыку ходило много студентов и курсисток, но они уже не концентрировались в одном месте, а растворялись во всей публике. Причины исчезновения уголка были политического характера: в уголке появились шпионы, стали прислушиваться к разговорам, вмешиваться и провоцировать их; было несколько случаев ареста и „политических осложнений", оканчивавшихся столкновениями с „гороховыми пальто". Появилась наружная полиция в лице пристава, околоточных и городовых, и уголок сам собою растаял.

Зимний сезон 1878—79 г. я прожил с большой пользой, много перечитал, развился, умственно вырос и хорошо подготовился к экзамену в Учительский Институт. Братья не раз меня экзаменовали и находили, что предметы я осилил, и во мне явилась уверенность, что я выдержу экзамен; но эта уверенность при первом же посещении Учительского Института поколебалась.

VIII

Учительский Институт. Преподаватели

Учительские институты основаны были в 1872 г., когда было издано положение о городских училищах, по которому уездные училища преобразовывались в городские училища. Предполагалось, что окончившие в городских училищах и составят основной контингент воспитанников институтов, будущих учителей городских училищ. Но практика не оправдала этого предположения. В институты пошли и из гимназий; главный же контингент воспитанников составили народные учителя, окончившие учительские семинарии. Состав воспитанников, по крайней мере в Петербурге, был великовозрастный, за 20 и более лет. Были между ними и женатые, напр. Дмоховский, окончивший Институт раньше меня на год.

Когда я подавал прошение о допущении меня к экзаменам и увидел „дядей с бородами", то моя уверенность в хорошей подготовке к экзамену поколебалась. С одним из таких „дядей", Симченко, я познакомился при подаче прошения в канцелярии. Симченко уже год учился в Институте, а раньше был народным учителем; побывал он и добровольцем в Сербии, служил в каком-то земстве, а затем уже поступил в Институт. Впечатление от великовозрастности слушателей Института еще более увеличивалось оттого, что при Институте были открыты курсы для учителей уездных училищ в целях подготовки их в учителя городских училищ.

В конце августа я явился на экзамен и, можно сказать, „упал духом“. Такие юнцы, как я, совершенно затерялись среди солидных, с бородами и усами, людей, явившихся на экзамен. Экзаменовалось человек 80 на 18 вакансий. По всем предметам были письменные и устные экзамены. Экзамены производились в актовом зале, в особой комиссии под председательством директора Института К. К. Сент-Илера. Письменные экзамены сошли для меня благополучно. После них добрая половина экзаменующихся отпала. Прошли и устные экзамены. Мне пришлось пережить два тревожных дня, пока конференция будет решать участь экзаменующихся.

Тревога оказалась напрасной: я попал в число 18 поступивших в Институт. Моими товарищами оказались человек пять из городских училищ, двое из гимназии, а остальные бывшие учителя народных училищ. Самыми солидными между нами были Н. С. Ахутин, И. Л. Шаталов, П. В. Вембер. У последнего была большая рыжая борода. Среди юнцов моими товарищами были Ф. К. Тетерников (Ф. Сологуб), с которым я начинал учиться еще в Никольском уездном училище, и Я. И. Душечкин, потом известный педагог и общественный деятель. Курс по возрасту разделился на две группы—на юнцов, лет по 17, которые были непрочь подурачиться и пошкольничать, и на взрослых, солидных людей, усердно углубившихся в науки. Скоро разница между группами сгладилась; мы быстро возмужали,—точнее, прониклись серьезностью, но и наша юность смягчила солидность второй группы, которую мы заражали юношескими веселостью и задором. Все мы составили дружескую семью. Но и весь Институт, все три курса жили между собою дружно, связанные общими интересами. В этом отношении большое влияние имели состав преподавателей, интернат, условия жизни в нем и та педагогическая политика, которая проникала всю институтскую жизнь.

Состав преподавателей в Институте в наше время был выдающийся. Теперь, через 50 лет по окончании курса в Институте, я вспоминаю о большинстве преподавателей

с симпатией и благодарностью. Все они, за исключением, быть может, Я. Н. Наумова, читавшего у нас физику и химию и относившегося к своим обязанностям формально, добродушного Медера, нашего географа, довольно ленивого по натуре, работали не за страх, а за совесть. Но и Наумов заставлял нас работать в лаборатории и физическом кабинете. Даже по второстепенным предметам в Институте преподавали лица, известные в педагогическом мире. По чистописанию Гербач, автор многих прописей и методик, по пению К. П. Галлер, композитор и музыкальный критик, по рисованию художник А. А. Лосев, по гимнастике Ухов, автор двухтомного руководства по гимнастике.

Первое место среди преподавателей, как организатору всего Института и по влиянию на нас, принадлежало директору Института К. К. Сент-Илеру, известному педагогу, автору учебника по зоологии и редактору перевода „Жизни животных“ Брэма. Несколько тучный, подслеповатый, с редкими волосами и бородой в беспорядке, он производил своею внешностью впечатление купца, а на самом деле был человеком широкого образования и педагогом по призванию. Его изложение отличалось изумительной простотой; самые трудные философские вопросы он излагал в доступной и понятной форме. Сент-Илер читал у нас педагогику и психологию, а одно время и зоологию. Он сумел подойти к нам, вникнуть в наши нужды, понять нас. В высшей степени гуманный и деликатный человек и в то же время с большим характером, он не насиловал нашей совести и наших убеждений. Мы свободно разговаривали с ним по самым щекотливым вопросам и были с ним искренни, несмотря на разницу наших лет и наших убеждений. В то же время это был требовательный человек и не раз указывал нам, что мы обязаны хранить не только честь, но и самый Институт. Если случалась какая-нибудь история с воспитанником, Сент-Илер приглашал его к себе и долго с ним беседовал. Такие беседы бывали часты с теми, кто любил выпивать, а таких в Институте было не мало, и они иногда являлись в Институт крепко выпившими. Если воспитанник в та-

ком виде попадался на глаза „Карлуше“, как мы звали Сент-Илера между собой, то беседа была неизбежна. Репрессии не практиковались и против пьяниц; в крайнем случае им предлагали удалиться из Института и жить на частной квартире.

Характерно было отношение Сент-Илера к больным, даже заразившимся нехорошей болезнью. Сент-Илер с таким больным беседовал, когда болезнь проходила, а в течение болезни он справлялся у нашего врача, И. Г. Карпинского, профессора Медико-Хирургической Академии, всемерно выгораживавшего секретных больных. Но справки Сент-Илера не имели характера сыска, он заботился—не может ли он помочь больному чем-нибудь. Если же воспитанник серьезно заболевал, то Сент-Илер проявлял трогательное внимание к нему. Я заболел ангиной в тяжелой форме и лежал в институтском лазарете; Сент-Илер сам приносил мне разные вкусные жидкие кушанья. В другой раз я заболел воспалением легких, и меня перевезли в клинику. Сент-Илер нашел время навестить меня. Когда в нашем лазарете умирал в чахотке наш товарищ Шангин, Сент-Илер и его жена просиживали у постели больного даже по ночам. Мы бывали на вечерах у Сент-Илера и танцовали там. Но это не мешало тому, чтобы назавтра он журил бывшего у него воспитанника за проступок, совершенный до вечера. На вечере же он не подавал вида и был любезен.

У меня с Сент-Илером было три беседы, хорошо характеризующие его: одна—по поводу незначительного факта, две другие—по серьезным...

Я пошел в оперу в Мариинский театр, не заявивши об этом дежурному преподавателю, что требовалось правилами Института. Мой уход прошел бы благополучно, но в театральной курилке я встретился с Сент-Илером и поздоровался с ним. Он не подал вида, что я в театре „убегом“, и мы даже обменялись впечатлениями об опере. Но на другой день он пригласил меня в свой кабинет.

— Попов, я огорчен... Вчера вы были в опере, не заявив об этом дежурному преподавателю. Это нарушение

наших правил, и для Института могут быть неприятности. Представьте себе—пол-института уйдет, не заявив дежурному. Нагрянет начальство, а в Институте почти никого нет. В какое положение поставили бы дежурного и меня? Да и вы лично не гарантированы от того, что и о вас могут справляться; опять могут быть неприятности. Я не педант, это вы хорошо знаете... Вчера в театре я вам ничего не сказал, не желая портить вам настроение, но сегодня я должен пожурить вас и просить, чтобы впредь этого не было.

Я чувствовал себя неловко и ушел сконфуженным.

Другой раз дело было более серьезное и щекотливое. Я уже был на III курсе; до выпускных экзаменов оставалось месяца два. По неосторожности я привел шпика. По обыкновению, я вошел в Институт через парадный подъезд. Шпик стал допрашивать швейцара, который был дошлый парень и жил с нами в большой дружбе. Швейцар, как я узнал потом, уверял шпика, что он отлучался, а кто прошел, он не видал: „может быть, и не наш, а посторонний...“

Во время разговора вошел Сент-Илер и заинтересовался разговором. Он послал швейцара узнать, кто пришел, хорошо зная, что швейцар никого не найдет. Так и случилось. Тогда Сент-Илер принял генеральский вид (он был тайный советник и на вицмундире носил звезду) и стал распекать шпика:

— Ну, милый, вы и ротозей... Выслеживал кого-то, а теперь и прозевал. Вместо того чтобы стать на углу и наблюдать за воротами и подъездом, вы вошли в подъезд и болтаете с швейцаром, а тот, кого вы выслеживали, вошел в столовую, а потом через кухню и двор вышел на 6-ю линию и был таков. Пеняйте сами на себя и не отрывайте швейцара от дела...

Сказав это, Сент-Илер величественно удалился.

Швейцар передал мне этот разговор и предложил, что если директор спросит его, кто из воспитанников привел шпика, то он скажет, что никого не видел. Но я знал, что Сент-Илер не будет расспрашивать швейцара, и решил

сам пойти к нему. Он немедленно принял меня. Я сказал ему, что шпика привел, вероятно, я, и не считаю возможным скрыть это от него, потому что я знаю, что директор объяснялся со шпиком.

— Хорошо, что вы говорите мне об этом. Я предполагал, что агента привели вы. Я не стану говорить и спорить с вами по поводу ваших убеждений. Но я должен со всей суровостью сказать вам, что, живя в Институте, вы не должны заниматься такими делами, которые могут повредить Институту. Вот кончите Институт, тогда можете заниматься чем вам угодно—это дело вашей совести. Но теперь прошу вас беречь Институт; вы знаете, что наш Институт на плохом счету у полиции, а вы можете еще больше его скомпрометировать.

— Я не занимаюсь революционной деятельностью (это, пожалуй, было так и на самом деле, о чем буду говорить ниже) и „шпика" привел случайно, подхватив его у когонибудь из знакомых.

— Я не допрашиваю вас,—это ниже моего достоинства,—но я прошу вас беречь Институт. Через два месяца вы вольны будете поступать, как захотите, а теперь я требую не компрометировать Институт.

В заключение Сент-Илер посоветовал мне не выходить из Института несколько дней, пока агенту не надоест торчать у Института. Я последовал его совету и не выходил из Института, пока мои товарищи не выяснили, что за Институтом никто не следит.

Институт был у департамента полиции на плохом счету. До меня в Институте было два-три ареста. В Институте учился Пресняков, впоследствии казненный. Несколько раз мы ждали обыска. После 1 марта К. К. Сент-Илер пригласил меня и еще двух воспитанников с других курсов и конфиденциально, прося не разглашать, сказал нам:

— Вот что, господа, время теперь беспокойное. Всюду аресты... На Институт смотрят плохо. Я жду, что и у вас, у воспитанников, будет обыск. Я имею на этот счет определенные сведения. Быть может, и удастся отстоять.

Ну, а вы уж там уберите, что может повредить вам и Институту. Можете принести ко мне—сохраню. Постарайтесь, чтобы у ваших товарищей было чисто.

Мы пообчистились, но обыска не было: Сент-Илер отстоял... После 1 марта все учебные заведения возлагали венки на гроб Александра II. Нужно было это сделать и Институту. В депутации должно было участвовать от каждого курса по одному делегату. Сент-Илер знал, что большинство относится к возложению венка несочувственно. Он собрал всех нас в актовом зале и сказал нам короткую речь, в которой не было оценки личности Александра II, а говорилось о неизбежности возложить венок.

— Венок уже куплен; надпись самая обыкновенная: „Царю-освободителю—Спб. Учительский Институт". Венок возложим в Петропавловском соборе. Нужно, чтобы трое из вас поехали с нами. Желающие, вероятно, найдутся.

Желающие нашлись, и венок был возложен.

Все разговоры, беседы, замечания, выговоры, какие пришлось иметь с К. К. Сент-Илером, были в высшей степени корректны и деликатны. Корректность, гуманность, деликатность до щепетильности были основными чертами его характера.

Я не привожу других фактов, характеризующих симпатичного К. К. Сент-Илера, но не могу умолчать об одном факте, так и оставшемся для нас не разъясненным. Сент-Илер был католиком. В 1882 г. он перешел в православие и принял имя Карпа. Перемена имени Карла на Карпа ни на иоту не изменила его подписи: „К. Сент-Илер". Отсюда понятно, почему он принял это имя; но почему он перешел из католичества в православие, так мы и не поняли; во всяком случае, этот шаг был им сделан не из-за выгоды, а скорее по убеждению. В конце 90-х гг., когда Сент-Илер уже скончался, я встретился в Дерпте с его сыном, профессором университета; он вспоминал отца с большой любовью и переход его в православие объяснил тем, что отец его не видел большой разницы между католичеством и православием, но последнее считал для себя более приемлемым.

Заслуги К. К. Сент-Илера перед Институтом велики. Он был организатором его и создал тот порядок и режим, которые мы застали. До него директором был Михайлов, с которым преподаватели вели борьбу, так как он был человеком старого закала. С уходом Михайлова преподаватели вздохнули свободно; в Сент-Илере они встретили человека, сочувствующего их новым веяниям, и в Институте установились те полутоварищеские отношения между преподавателями и слушателями, каких мы не встречали в других учебных заведениях.

Из преподавателей, имевших наибольшее влияние на нас, я должен отметить математика В. А. Латышева, историка Я. Г. Гуревича, законоучителя И. Заркевича, Н. Е. Смирнова и А. С. Врениуса, читавшего у нас гигиену.

Ближе всех к нам стоял В. А. Латышев. Со Смирновым, худым, нервным, даже желчным, заваленным уроками из-за большой семьи, наши отношения были официальными. Но и Смирнов иногда пускался в рассуждения на общие темы. Он был грубоват, сух, но с большими знаниями по русской и иностранной литературе. Он стремился привлечь нас к чтению, что ему легко удавалось, так как все мы охотно читали. С некоторыми из нас у него выходили столкновения из-за старо-славянского языка; его мы и прозвали „большим юсом". Смирнов был до крайности требователен и никому не ставил полной отметки. Он благоволил к Тетерникову, литературный талант которого стал уже выявляться в институтских литературных работах.

В. А. Латышев вначале нам казался сухим педантом, ушедшим в формулы математиком. Высокий, худощавый, с небольшой бородкой, прямыми, гладко причесанными волосами, он был почти всегда спокоен, а если волновался, то имел привычку проводить рукой по лицу. Латышев был вдумчивым, внимательным педагогом. За его привычку вставлять в разговоре слова: „а уж", мы так и прозвали его „а уж".

— Скворцов, а уж вы опять в капоте,—почти каждый раз делал Латышев замечание П. И. Скворцову, упорно отказывавшемуся носить кушак на блузе.

Лекции Латышева часто обращались в беседы по вопросам, совершенно не имеющим отношения к математике. Случалось ли какое-нибудь событие, не исключая и политических, напр. взрыв в Зимнем дворце, мы беседовали с Латышевым о нем и высказывались вполне свободно.

— А уж мы и не занимались. Но вы сами нагоните и прочтете вперед.

И мы добросовестно исполняли это предложение. Латышев был самым требовательным и строгим дежурным. Он аккуратно выполнял инструкции дежурному и настаивал, чтобы мы не засиживались дольше 11 часов вечера. Он любил беседовать с нами один на один и тогда был еще более откровенным. Догадываясь о моих убеждениях и зная, что я знаком с его братом, студентом-медиком, Петром, причастным к революционным делам, Латышев советовал мне быть осторожнее и доказывал, что в мои годы нужно заниматься, больше читать, приобретать знания, чтобы потом не разочароваться и не раскаиваться.

— Кончите Институт, приобретете общественное положение, будете вдумчивее относиться к событиям и условиям жизни, тогда вольны поступать, как хотите, как велит ваша совесть. А теперь нужно только заниматься.

Другим, колеблющимся, в которых подозревал карьеризм, он советовал избегать кривых путей и добиваться намеченной цели и ради земных выгод не поступаться своими убеждениями. Подобные беседы он и Сент-Илер вели с каждым из оканчивающих в отдельности, откровенно разбирая неблагоприятные условия тогдашней общественной и педагогической деятельности.

Для характеристики В. А. Латышева отмечу еще один факт. Как-то во время институтского бала один из слушателей, Слованицкий, напился пьяным в нашем буфете и начал отпускать по адресу Латышева ругательные выражения. Все это происходило на лестнице, когда мы уводили Слованицкого спать. Крики долетали до зала, где Латышев танцовал. Он закончил тур, пошел на лестницу и стал успокаивать Слованицкого. Наутро Слованицкий, узнав от товарищей об инциденте, стал извиняться перед Латышевым, когда тот пришел в аудиторию.

— А уж ничего... Вы выпили больше, чем нужно, и позабылись. Надеюсь, что в трезвом виде вы несколько иного мнения обо мне.

Инцидент был исчерпан, и никакого вопроса в педагогическом совете не возбуждалось.

Как преподаватель, Латышев сумел увлечь нас и своим сухим предметом. В этом отношении он был образцовым педагогом и нам казался незаменимым. Но образцовых уроков в городском училище, имевшемся при Институте, он не давал, считая, что для этого он не подготовлен. С 1882 г. Латышев начал издавать журнал „Народный Учитель", в котором многие из нас сотрудничали. Впоследствии он был директором народных училищ, а затем попечителем Петербургского учебного округа.

Я. Г. Гуревич, известный преподаватель истории, автор учебника „Греция и Рим" и составитель хрестоматий по русской и новой истории, по внешнему виду был прямой противоположностью Латышеву. Небольшого роста, полный, под гребенку остриженный, с выхоленными бакенбардами, но без усов и бороды, с замечательными белыми зубами, всегда хорошо одетый, живой и экспансивный человек—таков был Я. Г. Гуревич. Он часто страдал мигренью и тогда появлялся на лекции с головой, обвязанной полотенцем. Прекрасный оратор, увлекательный собеседник, знаток истории, особенно классической и новейшего времени, Гуревич сразу увлек нас своим предметом. В ярких красках он освещал события, требуя от нас не столько хронологии, сколько понимания причинной связи между этими событиями. Он не любил давать темы для письменных работ, а предоставлял нам самим выбирать эти темы.

Я как-то выбрал тему: причины революции 48-го года. Он, как бы шутя, отклонил эту тему.

— Нет, г. Попов, не пишите на эту тему. Мы заведем с вами такой спор, что никогда не кончим его. Конечно, дискуссии полезны, но в данном случае вы будете иметь преимущество передо мной: вы не стесняясь будете высказывать все, что думаете, а я ведь чиновник министерства народного просвещения. Согласитесь, что спор может быть

несколько неудобен для меня. Вот если бы эту тему взяли Шаталов или Офицеров, то я не возражал бы и на конференции, вероятно, был бы вашим единомышленником.

Как-то я выбрал тему „Аграрная реформа в Риме и закон братьев Гракхов“.

— Отлично, пишите. При вашем народническом миросозерцании интересно будет почитать и поспорить.

Гуревич был убежденным западником. К народничеству и идеализации русского мужика относился иронически, усматривая в этом движении отрыжку славянофильства.

Я часто беседовал и спорил с Гуревичем. В моей памяти сохранились кое-какие его замечания по поводу читаемых мною книг. Так, о „Комедии Всемирной Истории“ Шера он сказал: „занятная книжка, полна блестящими парадоксами, но без всякого научного подхода к событиям“.

Об „Исторических письмах“ Миртова он заметил:

— Большого ума и образования Петр Лаврович. С удовольствием беседую с ним, когда бываю в Париже. Много верного и в его письмах, но законы истории рассматривает под углом своего миросозерцания, да притом еще как математик. История, как и жизнь отдельного человека, не укладывается в определенные формулы. Найти закон, управляющий человеческой эволюцией, так же трудно, как разрешить задачи о трисекции угла или квадратуре круга. Вы, конечно, не согласны: ваш К. Маркс одним росчерком пера, можно сказать, в двух словах „экспроприирующих экспроприируют“ разрешил весь сложный комплекс человеческого бытия и прогресса. Лавров не так ушиблен, но и он не всегда может быть объективен.

С Гуревичем, как и с Латышевым, у нас сохранились добрые отношения и после окончания курса в Институте, когда он заведывал гимназией и издавал „Русскую Школу“. Помню и его детей—Якова Яковлевича и Любовь Яковлевну, тогда полненьких, кругленьких, по сложению напоминающих отца. Яков Яковлевич, пожалуй, остался таким же, сильно напоминающим отца; но Любовь Яковлевну трудно представить веселой толстушкой, хохотуньей, какой она была в юности. Яков Яковлевич был после отца

директором гимназии и редактором журнала „Русская Школа“. Любовь Яковлевна писала в журналах, выдвинулась в литературе и живет в Москве, где я встречаюсь с ней. Из всех преподавателей мне пришлось похоронить только Я. Г. Гуревича.

Летом, в 1909 г., я приехал в Петербург и в газетах прочел объявление об его кончине. Я поехал в Александро-Невскую лавру, где хоронили Я. Г. Гуревича. Благодаря летнему времени народу было немного, а из бывших его учеников, кажется, я один. Мне стало грустно, а тут еще решили не говорить речей. Но я запротестовал, и распорядитель в виде исключения предоставил мне слово. Я охарактеризовал покойного, как его бывший ученик, и указал на то, как многим мы обязаны Я. Г. Гуревичу.

Светлые воспоминания оставил по себе и наш законоучитель, протоиерей Павловского военного училища Иоанн Заркевич. Живой, небольшого роста, с замечательно веселыми, но донельзя близорукими глазами, в больших золотых очках, с докторским крестом, светски воспитанный, философски образованный, говорящий на европейских языках и знавший древние языки, в том числе и старо-еврейский, Заркевич вел преподавание закона божьего так, как, кажется, нигде не преподавали. Ни богослужения, ни истории церкви, ни Ветхого и Нового завета мы в прямом смысле не изучали. Все это нужно было для экзамена и на случай приезда начальствующих лиц. Мы во время лекций вели беседы по вопросам богословского, догматического или морального характера.

Заркевич садился за кафедру и ждал от нас вопросов. Если таковых не было, то он опускал руку в карман, вынимал книжку и близко подносил к глазам.

— Нет, не та!..

Опускал руку в другой карман, потом за пазуху и наконец находил нужную для него книгу.

Знакомый с биологией и естественными науками, он объяснял многие вопросы материалистически: о вознесении Христа на небо он говорил, что материя растворилась в мировом пространстве, а душа вознеслась на небо.

Если появлялось какое-нибудь постороннее начальство, то беседа прерывалась, и кто-нибудь из нас отвечал урок, или сам Заркевич продолжал якобы рассказывать новый урок. Раз приехал принц Ольденбургский, который после перерыва должен был притти и в нашу аудиторию. Нужно было не ударить лицом в грязь. В перемену кликнули охотников „отвечать урок"; таковые нашлись, и между ними один бывший духовный семинарист. В журнале у фамилий охотников были сделаны отметки. Вошли Ольденбургский, попечитель, директор и Заркевич, который сел за кафедру. Вопреки обычаю, дежурный поднес Заркевичу журнал для подписи не после урока, а сейчас же при входе.

— Потом, потом!..

— Нет, батюшка, распишитесь.—И тут же шепчет ему:— Спрашивайте тех, чьи фамилии отмечены.

Были спрошены охотники, и все сошло благополучно.

В другой раз на экзамен приехал архиерей, и один из воспитанников высказал какую-то мысль, с точки зрения архиерея еретическую.

— Кто это внушил вам неправильное толкование?

Воспитанник замялся.

Архиерей обратился к Заркевичу:

— Ведь это еретическое толкование?

— Об этом с вами, владыко, будем говорить потом, а теперь нужно экзаменовать,—ответил Заркевич.

Архиерей поставил экзаменующемуся единицу, Заркевич и ассистент—по пяти. Архиерей демонстративно ушел.

— Вы не волнуйтесь,—утешал Заркевич экзаменовавшегося.—Ваше толкование правильно, а владыка не понял. Вот жалко, что вам не выйдет пяти.

Припоминаю еще один характерный для Заркевича случай. Мы говели, исповедывались и должны были причащаться. Утром, перед обедней, многие из нас стали пить чай. Вошел дежурный преподаватель Смирнов и остановился изумленный:

— Ну-с! Что это такое? Перед причастием чай пьете? Разве это возможно? Я должен обо всем передать вашему духовнику...

И передал, а Заркевич на это заметил:

— Ничего, молодость... бог им простит...

А когда вышел с дарами и увидел нашу нерешительность, то пригласил:

— Подходите, господа...

Мы причастились, инцидент был исчерпан, и „чай“ не имел для нас последствий.

Заркевич составил собственный православный катехизис, пытался издавать духовно-нравственный журнал, но духовная цензура не разрешила ни того, ни другого. Несмотря на это, благодаря своему широкому богословскому и общему образованию, Заркевич в синоде пользовался большим авторитетом. Впоследствии Заркевич, когда он овдовел, принял монашество и был назначен херсонским епископом, но по дороге в епархию скончался.

Нельзя не упомянуть о А. С. Вирениусе, читавшем у нас гигиену. Он был врач; всю свою жизнь и свои знания он посвятил детям и много работал над вопросом нормального воспитания детей. Как санитарный врач, Вирениус заботился о гигиенической обстановке городских школ. В Институте он проводил свои гуманные взгляды и в своих лекциях не раз подчеркивал мысль о высоком назначении воспитателя. Он умер в 1910 г. и в одном из газетных некрологов был назван русским Песталоцци.

Все преподаватели, за исключением К. К. Сент-Илера и Наумова, которым было за 40 лет, были народ молодой, по возрасту не старше некоторых воспитанников. Институт был открыт в 1872 г., и преподаватели поступили в него едва ли не со студенческой скамьи; некоторые из них оказались моложе своих учеников. Характер преподавания и вся система институтского режима установились не столько путем кабинетного измышления, сколько путем практики, путем совместной работы педагогического персонала и самих воспитанников.

IX

Учительский Институт. Жизнь в Институте и воспитанники (Ф. К. Тетерников—Ф. Сологуб, Я. И. Душечкин и др.)

Институт занимал большой трехэтажный дом на Васильевском острове, на углу 6-й линии и Черной Речки. При Институте был довольно обширный сад, откуда весною и осенью неслось пение, привлекавшее внимание публики. В первом этаже здания помещались: канцелярия, столовая, кухня, куб для кипятка, гардеробная (у каждого из нас был свой шкаф) и химическая лаборатория; во втором этаже были три аудитории, большой актовый зал, гимнастические машины и приборы, советская и учительская комнаты, библиотека, физический кабинет и городское училище, где мы давали практические уроки; в третьем этаже находились спальни, умывальная комната, лазарет, один класс городского училища и квартира директора.

День в Институте начинался рано: в 7 часов мы вставали (иногда в 7 часов начинались лекции), в 8—пили чай, разбившись на группы по четыре человека. Чай ($^1/_4$ фунта) и сахар (4 фунта) выдавали на руки. У каждой группы были чайники для кипятка и для заварки чая. К утреннему и вечернему чаю полагалось по французской булке. С 8 часов утра начинались лекции, в 12—завтракали, в 4—обедали. Кухня находилась под контролем воспитанников, из которых каждый по очереди дежурил, заказывал меню, наблю-

дал за качеством товара и за тем, чтобы все попадало в пищу. Дежурный был ответственен за стол, и, если кушанья нам не нравились, мы пилили его. Вместе с нами обедали преподаватели, разместившись за нашими же столами.

После обеда до 7 часов мы уходили в город; если кому нужно было пробыть дольше—итти в театр и т. п., он только заявлял дежурному преподавателю. С 6 до 8 часов вечера занимались в аудиториях. В 8 пили чай, после которого в актовом зале устраивались пение, музыка, танцы. В зале стояли рояль и фисгармония. Многие из слушателей играли на музыкальных инструментах. Мы обязаны были ходить в церковь, но определенного храма для этих посещений не было, и это обязательство для большинства оставалось на бумаге.

Карательных взысканий никаких не полагалось, и отметки за поведение не ставились... Каждому воспитаннику выдавалось несколько пар белья, рабочая блуза и брюки, пиджачная пара, пальто, фуражка темносинего цвета, с черным бархатным околышем. Некоторые носили свои костюмы; у многих были пледы.

И по внешности, и по существу институтский режим не угнетал нас, не давил нашей самостоятельности; в институтских стенах мы чувствовали себя достаточно независимыми и с преподавателями были в полутоварищеских отношениях. Это не мое только мнение, но и мнение моего товарища П. К. Федорова, с которым, когда писались эти строки, мы вспоминали Институт по случаю исполнившихся в 1922 г. юбилеев—50-летнего с основания Института и 40-летнего со дня нашего выпуска: кроме благодарных воспоминаний об Институте, других о нем у нас нет. Ни в Историко-Филологическом Институте, ни в Духовной Академии, не говоря уже об интернатах средних учебных заведений,—нигде не было той свободы и самостоятельности, какими пользовались мы. Институт подготовлял нас к практической жизни, стремился выработать из нас критически мыслящих людей, стойких в той борьбе, которая неизбежна в жизни.

Для характеристики институтской жизни и режима следует остановиться на праздновании дня праздника (основания) Института, 25 октября. Этот день выделялся из будничной жизни Института, и к нему готовились несколько дней. Институт подчищался, хотя чистота в нем всегда была образцовая, актовый зал убирали зеленью. В виду бала, который бывал каждый год, обед и завтрак соединялись в один обед. Обедали в этот день в 2 часа все воспитанники и преподаватели. Полагалось пиво и кофе. Были речи. После обеда мы расходились по ресторанам и пивным, а к 8 часам возвращались в Институт. Наверху, в аудиториях, были сервированы à la fourchette буфеты с чаем, закусками, водами, мороженым, фруктами и т. п. В актовом зале происходили танцы, а библиотека, преподавательская обращались в гостиные. Внизу, в столовой, был особый буфет с водкой, вином, пивом и пр. На бал преподаватели и воспитанники приглашали родных и знакомых. Вечер проходил оживленно и затягивался до 4 часов утра. Лекции на другой день начинались после 12 часов дня.

Преподавание в Институте хотя и велось в объеме средних учебных заведений, но программа была значительно выше, и предметы освещались философски. Мы не столько должны были усваивать знания, сколько подготовить себя для самостоятельного занятия наукой. Образование у нас было поставлено образцово, и общее развитие высоко ценилось. Приходилось много читать. При Институте была прекрасная библиотека. По литературе требовалось знание не только русских классиков, но и иностранных с критикой их; по истории приходилось читать университетские курсы, и хрестоматии Гуревича и Павловича были нашими учебниками. По педагогике в основе лежали „Человек, как предмет воспитания“ Ушинского, Шмидт и др. Приходилось штудировать целый ряд методик по разным предметам. Даже преподавание богословия и закона божьего велось нашим законоучителем И. Заркевичем в форме дискуссий. По каждому предмету мы обязаны были представлять письменные работы, которые обсуждались на особых конференциях под председательством директора. Двое из вос-

питанников являлись официальными оппонентами и должны были готовиться к „диспуту". В обсуждении и прениях участвовали слушатели и других курсов. „Защита диссертаций", как мы называли эти конференции, проходила оживленно, даже по элементарной математике. Я поступил в Институт, зная геометрию, алгебру, физику, но только в Институте постиг философию чисел и простых арифметических действий и дробей, рассматривая их происхождение, как результат счета или результат измерения. На конференциях мы высказывались вполне свободно, не стесняясь даже политикой. Мой товарищ Федоров припомнил мне одну конференцию по истории, когда я с юношеским задором возражал нашему преподавателю Я. Г. Гуревичу, доказывая, что освобождение крестьян было неизбежно, и личность монарха здесь не при чем. Гуревич отмалчивался, а председатель, К. К. Сент-Илер, в своем резюме подчеркнул, что каждое историческое событие совершается тогда, когда назрели условия для него.

Большой интерес на старшем курсе представляли разборы образцовых уроков, которые мы давали в городском училище. Понимая всю важность для будущего преподавателя правильной оценки урока, мы разбирали его беспристрастно, не скрывая недостатков его и даже подчеркивая их. Такая оценка не портила наших товарищеских отношений. Воспитанники, бывшие народные учителя, оказывались более опытными в деле преподавания в народной школе, чем институтские преподаватели. Последние отказывались давать примерные уроки, и только раз подзадоренный Гуревич решился дать образцовый урок в городском училище. Но тотчас же после урока, когда мы гурьбой спускались по лестнице, он признал, что наделал массу промахов.

— Ну, господа, и отделаете вы меня на конференции под орех.

— Да, Яков Григорьевич, не пощадим: урок в народной школе это не лекция в университете.

И на конференции наши народные учителя „здорово отчитали" Гуревича, как шутя резюмировал Сент-Илер,

и, вероятно, отбили у него охоту давать образцовые уроки. После конференции спор продолжался в аудиториях и особенно в столовой, за вечерним чаем. Столовая была нашим клубом для бесед и дискуссий. Продолговатая, обширная, с каменными колоннами и сводчатым потолком комната, где стояло 10 столов, из которых за каждым садились 8 человек, была удобна для беседы. Во время завтрака и обеда столы накрывались белыми скатертями, а за чаем белой клеенкой. Здесь по вечерам раздавалось пение, но больше велись беседы и дискуссии. Спор начинался за каким-нибудь одним столом, к этому столу присоединялся другой; приходилось выбирать председателя. „Обмен мнениями" часто приобретал жаркий характер. Однажды дежурный Гуревич вошел в столовую в разгар спора:

— Господа, нельзя ли поспокойнее, а то вы так спорите, что штукатурка с потолка сыплется.

Зато в аудитории, где мы сидели на стульях каждый за своей конторкой, с собственной керосиновой лампой, хотя на потолке висела общая лампа, была абсолютная тишина— ни разговорв, ни тем более споров мы в аудиториях не допускали.

Я уже выше отметил, что по возрасту наш курс разделился на две группы, но это различие между группами быстро сгладилось, и мы все составили одну дружную семью. Правда, между нами было двое, с которыми у нас не было дружеских отношений и товарищеской откровенности. Но и с этими двумя наши отношения были корректны, хотя им и доставалось от нас за их угодничество и желание подслужиться. Не только отдельные курсы, но весь Институт, все 60 человек, жили одной дружной семьей и в тесном общении.

В Институте я вновь встретился с Ф. К. Тетерниковым (Федором Сологубом). За полтора года нашей разлуки после городского училища он обратился в красивого голубоглазого светлого блондина, такого же застенчивого и часто краснеющего, каким я знал его еще в уездном училище, где мы, как я писал, начали учиться. Он держался несколько отдельно и уже к последнему курсу сблизился

с самым младшим из нас, Лопачевым. Они ходили и беседовали вместе. Федя Тетерников, как мы его звали, был хорошим товарищем; общественными и политическими вопросами он мало интересовался. Любил он сладости, над чем мы не раз подшучивали. Ни вина, ни пива не пил, рестораны и портерные не посещал. Даже в день институтского праздника держался отдельно и не принимал участия в танцах и попойке. Занимался хорошо и шел в числе первых: работы и сочинения его по словесности и литературе считались лучшими. Тетерников любил уединяться или ходил по залу, устремивши глаза в потолок, что-то обдумывая, а потом остановится у окна и начнет заносить пометки в записную книжку, отрываясь от нее и опять что-то обдумывая.

— Не иначе, как стихи пишет,—шутил П. И. Скворцов.

Но Тетерников не посвящал нас в свои размышления, хотя, кажется, читал что-то М. В. Лопачеву; но и тот молчал и хранил тайну Феди. Очень вероятно, это были наброски рассказов или стихотворения, которые много лет спустя мы встречали в журналах, не подозревая, что Ф. Сологуб, автор „Мелкого беса“,—наш Федя Тетерников, которого мы считали красной девицей. В нем действительно было что-то женственное. Политика и „проклятые вопросы“ его не интересовали, и в спорах по поводу их он не принимал участия, зато оживлялся при разговоре о литературе. В этой области свои мнения он высказывал в решительной форме. При чтении какого-то стихотворения наш словесник Смирнов признал лес в весеннем уборе верхом красоты и поэтичности в природе.

— Нет, я с этим не согласен,—заметил Тетерников.

— Почему?—недоумевающе спросил Смирнов.

— Стихотворение действительно хорошее, но чтобы весенний лес был красивее леса зимой, когда он одет пушистым, серебристым инеем и освещен розовыми лучами заходящего солнца,—с этим я не согласен. Последний более красив и дает больше настроения.

— Ваше мнение субъективно, и о вкусах не спорят,—возразил Смирнов.

— У поэтов нет объективного настроения, поэт всегда субъективен,—отпарировал Тетерников замечание Смирнова.

Тетерников кончил курс в числе первых и уехал учителем в Крестцы, захолустный городишко, потом перевелся в Великие Луки, а оттуда в Вытегру. Жизнь в захолустьи, с ее пошлостью, мелкими дрязгами, пьянством, отсутствием духовных интересов, как „недотыкомка", от которой нельзя избавиться, удручающе действовала на Тетерникова. Эта жизнь дала материал для его „Мелкого беса", „Тяжелых снов" и др., сразу выдвинувших его в литературе. Имя Ф. Сологуба привлекло к себе внимание почти через 20 лет после окончания им Института. Пробиться в литературу ему стоило не мало труда и энергии. В конце 90-х годов я встретился с Тетерниковым у Латышева, и он указывал на трудность устроиться в литературе.

— Вам посчастливилось: у вас большое, интересное дело; да вот и Афанасьев прочно устроился в „Новом Времени".

Я тогда уже издавал и редактировал „Восточное Обозрение" и „Сибирский Сборник", а Афанасьев был секретарем редакции суворинской газеты „Новое Время", где, кажется, и оставался до конца дней своих. Вскоре после этого разговора Тетерников перевелся в Петербург, в Андреевское городское училище, где прослужил до 25-летия своего учительства. Он хотел продолжать свою педагогическую деятельность, но причастность к литературе, а быть может, и сюжеты его повестей набросили на него тень, и он „за выслугой лет" был уволен в отставку с пенсией.

Вместе со мной поступил и окончил курс в Институте Я. И. Душечкин, которого за высокий рост и худобу прозвали „Яша Длинный". Он был, кажется, самым молодым между нами. В нем было много детского, и между нами он ничем не выделялся. Впоследствии из него выработался небезызвестный педагог и общественный деятель, автор многих педагогических трудов и хрестоматий. В 1920 г. он умер от тифа в Петрограде. Наш курс дал целый ряд выдающихся педагогических и общественных

деятелей (Ахутин, Вембер, Федоров и др.) Все они организовали и были руководителями учительских курсов, создавали библиотеки, принимали участие в педагогической литературе и журналах. Учительские семинарии охотно приглашали окончивших Учительский Институт преподавателями к себе, предпочитая их, получивших специальное педагогическое образование, универсантам. В Институт к К. К. Сент-Илеру обращались из разных учебных округов с просьбой рекомендовать преподавателей в учительские семинарии, женские гимназии и другие учебные заведения. Вообще марка Петербургского Учительского Института имела большое значение для поступления на педагогическую службу.

С нашим выпуском был сделан опыт: четверо из нас, бывшие народные учителя, были оставлены при Институте на дополнительный курс для подготовки к преподаванию в учительских семинариях. Этот опыт за недостатком средств больше не повторялся.

Годом позднее нас окончил курс в Институте К. Ю. Цируль; он осуществил идею К. К. Сент-Илера о гармоническом духовном и физическом воспитании. С этой целью он впервые в русских школах ввел ручной труд не как ремесло, а как систему воспитания... Еще при нас он был командирован Институтом в Швецию в Стокгольмскую семинарию для изучения этого дела. Высокого роста, в плечах косая сажень, легко гнувший подковы, „Никитушка Ломов", как мы его звали, латыш по происхождению, Цируль был веселый, добродушный парень и прекрасный танцор и музыкант. По окончании Института он был оставлен при Институте инструктором по ручному труду, создал не мало руководителей этого труда, в том числе известного в Москве Н. В. Касаткина.

В Институте кончил курс, но позднее меня, П. М. Шестаков, сотрудник „Русских Ведомостей", редактор и издатель, вместе с Н. В. Тулуповым, редактором педагогических журналов и книг.

Из нашего же Института вышел известный математик и профессор Петербургского Университета Иванов, еще в

Институте сделавший ряд открытий в области высшей математики. Латышев любил демонстрировать его математический талант перед приезжавшим начальством. Сам Иванов был очень скромный человек, хороший товарищ, был не прочь повеселиться и выпить.

Вообще Петербургский Институт дал родине не мало полезных деятелей.

Окончание курса мы отпраздновали поездкой на лодках на Лахту, где в лесу провели дня два. Большинство товарищей уехало в провинцию, четверо было оставлено при Институте. Только я, уже связанный с революционными делами, и А. А. Бейтель остались в Петербурге, в училище Тименкова-Фролова, где я стал преподавать историю и русский язык.

Тименков и Фролов были богатые купцы-скопцы и оставили большие капиталы для постройки и устройства богадельни для стариков и старух и двух училищ—мужского и женского—по программе городских училищ. При училищах были интернаты. Все учреждения помещались в огромном здании, с собственной церковью, расположенном на берегу Невы, рядом с тюрьмой „Кресты". Из окон верхних этажей, через тюремную ограду, мы могли видеть арестантов, когда они гуляли. В то время там политических еще не было.

Вместе со мной и Бейтелем в училище поступили Болотов, окончивший курс Института годом раньше нас, и М. Т. Тимофеев из Учительской Семинарии. Мы четверо составили группу, к которой присоединился и директор училища Д. Д. Галанин. У Галанина я начал учиться в уездном училище. Наша группа проводила новые идеи в педагогике и вела борьбу со старыми учителями—Гусевым, Казанцевым, священником, которые склонялись к дореформенным порядкам. К нам присоединилось большинство учительниц из женского училища. Попечительный Комитет, состоявший из купцов, вначале был против нас, опасаясь, что мы распустим учеников, но когда он увидел, что успешность и поведение учеников повысились, то стал на нашу сторону. В училище были отменены многие

наказания, стали устраивать вечера, чтения с туманными картинами; водили учеников на экскурсии, посещали зоологический и ботанический сады, музеи, Эрмитаж и т. д. На нас писались доносы. Стали приезжать начальствующие лица, знакомились с училищем и благодарили нас. Галанин вскоре умер, и его заменил Мендер, по своим воззрениям ближе стоявший к Гусеву и Казанцеву, чем к нам. Но он уже ничего не мог сделать: новые порядки прочно установились. Я проучительствовал с перерывом, благодаря аресту, два с половиной года, пока прочно не засел в крепость. Находясь уже в Сибири, я получил от некоторых моих учеников письма, в которых они благодарили меня и высказывали разные добрые пожелания. Эти письма наилучшим образом доказали, что система воспитания и преподавания, воспринятая нами в Учительском Институте, была правильна и имела благотворное влияние на учеников.

X

Ф. М. Достоевский, его похороны. Лекции В. С. Соловьева и В. И. Семевского

На II курсе Института я познакомился с Ф. М. Достоевским. Мы, молодежь, признавая талант и даже гениальность писателя, относились к нему скорее отрицательно, чем положительно. Причины такого отношения заключались в его романе „Бесы“, который мы считали карикатурой на революционных деятелей, а главное—в „Дневнике Писателя“, где часто высказывались идеи, по нашему разумению, ретроградного характера. Но после знаменитой речи Достоевского на пушкинских торжествах в Москве, которую приветствовали и западники, и славянофилы, и молодежь, под гипнозом общего настроения и наше отношение к нему изменилось, хотя речи мы не слыхали. Знаменитая речь произвела впечатление не столько своим содержанием, сколько по форме. В ней проводились идеи, не приемлемые для западников и особенно для бунтарски настроенной молодежи, которая не могла принять призыва Достоевского—„смирись, гордый человек“. Речь дала нам в Институте за вечерним чаем богатый материал для споров, в которых приняли участие и преподаватели. Я принадлежал к небольшой группе левого крыла, возражавшей против речи. Тем не менее в конце концов, увлеченные общим порывом, мы даже в „Дневнике Писателя“ стали находить не только приемлемые, но и приятные для нас суждения и комментиро-

вали их по-своему. Так, в рассуждениях Достоевского о „сермяжной Руси“, которую, если призвать, то она устроит жизнь хорошо, так, как ей нужно, мы усматривали народническое направление, демократические тенденции. Достоевский завоевал симпатии большинства из нас, и мы горячо его приветствовали, когда он появлялся на литературных вечерах. Этот перелом в отношениях молодежи к Достоевскому произошел в последний год его жизни. Он жил в Кузнецком переулке, около Владимирской церкви. В 1879 г. мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжело больного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испек кулич и поставил на мое пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя,— обратился Достоевский к малютке...

— Сиди, я еще принесу,—ответил малютка.

Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и „куличи“ рассыпались. Достоевский продолжал кашлять... Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст... Злобы не питают, горя не знают... Слезы сменяются смехом...

Не помню, что я ответил ему.

— Вы студент, в университете?

— Нет, я в Учительском Институте.

— То-то фуражка (я был в фуражке) с бархатным околышем. Я думал, что вы семинарист: у них такой же пиджак да фуражка, кажется, такая же. Вы говорите, Учительский Институт.... Это все равно что Учительская Семинария?

— Нет, к нам в Институт поступают из Учительской Семинарии. У нас учится много народных учителей.

— Так вы были в Учительской Семинарии и учителем. А совсем мальчик. Сколько же вам лет?

Я сказал ему и объяснил, что такое Институт, при чем заметил, что большинство воспитанников много старше меня, а есть и женатые, например Дмоховский.

— И живет в Институте? А как же его жена?

— По правилам у нас не должно быть женатых. Институтское начальство знает, что Дмоховский женат, но не подает вида. Жена его на родине...

— Да, женатых в Институт принимать неудобно,—смеясь, заметил Федор Михайлович.—Пришлось бы для каждой семьи иметь комнату, а пожалуй и школу для ребят...

— Ну что же, в образцовом городском училище при Институте обучалось бы собственное поколение детей воспитанников,—отшучивался я.

— Тогда для Института пришлось бы завести целые казармы, иметь целый штат мамок, нянек, гувернанток. Тут уж не до учения,—смеялся Федор Михайлович, а потом серьезно заметил:

— А я и не знал, что такое Учительский Институт. Слыхал о нем, но думал, что это Учительская Семинария, а вот теперь вы и просветили меня. Встречи между людьми всегда бывают полезны: часто узнаешь то, чего раньше не знал.

Мы приветливо простились уж за воротами ограды, при чем я указал на Владимирское училище, где живет моя семья.

— Да мы совсем соседи,—сказал он, прощаясь со мной.

После этой встречи, поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я снова встретил Ф. М. Достоевского, вместе с Д. В. Григоровичем. Федор Михайлович приветливо ответил на мой поклон. Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твердо, держался прямо и высоко нес свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шел сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке; ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик...

Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживает Достоевского.

Больше Достоевского я уже не видел.

Утром в конце января 1881 г. мы прочли в газетах, что Достоевский заболел. Вечером я пошел к брату и зашел в Кузнечный переулок, чтобы по поручению воспитанников справиться о здоровьи Федора Михайловича.

— Очень плохо; никого не принимает; крови много вышло. Послали за священником: хочет исповедаться и причаститься,—сказал мне швейцар.

Как известно, с Достоевским сделался удар, кровь пошла носом; удар повторился. Достоевский болел несколько дней и вечером 27 января скончался.

На другой день вечером я пошел на панихиду. Небольшая, вероятно из 4 комнат, квартира в 3-м или 4-м этаже, с маленькой прихожей, скромно меблированная, с кабинетом, обитым клеенкой, была полна народу. Посредине кабинета лежал Федор Михайлович, покрытый покровом. Рядом стоял открытый дубовый гроб. Монашка читала псалтырь. У стола, у стен и на покрове лежали венки и цветы. Григорович распоряжался. После панихиды я обратился к нему с вопросом о дне похорон.

— Отпевать и хоронить будем 30 января в Александро-Невской лавре. Прошу сообщить мне о депутациях: нужно будет установить порядок. Студенты помогут поддержать порядок во время шествия и на могиле. Передайте это вашим товарищам.

Институт in corpore—преподаватели и воспитанники—явился на похороны. Занятия были отменены. Процессия растянулась на большое расстояние, раза в четыре-пять большее, чем при похоронах Некрасова. Пело до 20 хоров—студенческих, артистов, консерватории, певчих и т. д. На тротуарах стояли сплошные толпы народа. Простой народ с удивлением смотрел на процессию. Мне передавали, что какая-то старушка спросила Григоровича: „Какого генерала хоронят?", а тот ответил:

— Не генерала, а учителя, писателя.

— То-то я вижу много гимназистов и студентов. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное.

В церковь св. духа, где отпевали Достоевского, попасть было невозможно. У могилы также были толпы: памятники, деревья, каменная ограда, отделяющая старое кладбище, все было усеяно пришедшими отдать последний долг писателю. Григорович просил студентов очистить путь к могиле и место около нее. Мы с трудом это сделали и выстроили венки и хоругви шпалерами по обеим сторонам прохода. Служба и отпевание продолжались очень долго. В церкви было сказано несколько речей. Многочисленное духовенство, александро-невские певчие и монахи проследовали к могиле, куда нам пробраться было уже невозможно. Речей я не слыхал, но, взобравшись на дерево, видел ораторов. Впечатление осталось от апостольской фигуры В. С. Соловьева, от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией. Разошлись от могилы, когда уже были зажжены фонари. Навстречу нам попадались группы людей, которые после службы шли отдать последний долг писателю. Литературные поминки по Достоевском продолжались вплоть до 1 марта, которое оборвало эти воспоминания о нем.

Через два месяца после похорон Федора Михайловича мне пришлось снова встретиться с В. С. Соловьевым, также при исключительных условиях.

С 1880 года Соловьев читал лекции по курсу философии в Петербургском Университете и на высших женских Бестужевских курсах. Его лекции не имели особенного влияния на радикально настроенную молодежь. Правда, вступительная лекция в Университете произвела на всех большое впечатление, но потом к нему охладели и считали его слишком мистически настроенным. Зато публичные лекции в Соляном Городке и в других залах пользовались большим успехом и охотно посещались публикой. В этих лекциях Соловьев затрагивал и современные темы и давал событиям приемлемое для нас освещение. Одна из таких лекций, прочитанная им в конце марта в зале Кредитного Общества, около Александринского театра, произвела в Петербурге потрясающее впечатление. За неделю или за две до этой лекции И. С. Аксаков прочел лекцию, в которой обрисовал идеал царя, как его понимает народ. Царь, по представлению народа, носитель народных идеалов, воплощение всего хорошего и светлого, что есть в народе, вождь и водитель этого народа. О лекции много говорили. Много спорили.

Процесс первомартовцев подходил к концу. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Н. И. Рысаков, Т. Михайлов и Г. М. Гельфман уже переживали часы приговоренных к смерти, хотя приговор еще не был вынесен. В обществе была уверенность, что смертная казнь будет заменена каторжными работами. 28 марта суд удалился в совещательную комнату.

Этот момент совпал с лекцией Соловьева. Лекция привлекла массу публики, среди которой было много учащихся. В обществе бродили смутные слухи, что на этой лекции может что-то произойти.

Лекция была на философские темы,—точно не помню, на какие. Соловьев был встречен аплодисментами. Первая половина лекции была строго научная и не касалась современных тем. Лектор был даже несколько вял. Но

во второй половине Соловьев осветил религиозные миросозерцания русского народа, в основе которых лежит бесконечное милосердие. Он сослался на лекцию И. С. Аксакова, принял его толкование об идеале царя. Местами лектор доходил до высокого пафоса, особенно там, где он доказывал, что истинная народная религия не терпит никакого насилия. Эти принципы должна проводить в жизнь и власть, как представитель православного народа. Соловьев, насколько я помню, говоря о власти, упомянул о царе; между царем и народом должна быть полная гармония религиозных принципов, исключающих всякое насилие; иначе царь не может быть представителем народа, не может быть водителем христианского народа. Насилием нельзя насадить правду на земле. Аудитория застыла.

— В настоящее время над шестью цареубийцами висит смертный приговор. Общество и народ верят, что этот приговор не будет приведен в исполнение. Это так и должно быть. Царь, как представитель народа, исповедующего религию милосердия, может и должен их помиловать...

Соловьев сошел с кафедры. В зале наступила тишина. Все как бы окаменели. Не было даже аплодисментов. Все чего-то ждали...

На кафедру вошел не то чиновник, не то офицер и обратился к Соловьеву приблизительно со следующими словами:

— Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного миросозерцания, или это есть реальные требования? Как вы вообще относитесь к смертной казни?

Соловьев вернулся на кафедру.

— Я сказал то, что сказал. Как представитель православного народа, не приемлющего казни, потому что народ исповедует религию милосердия и всепрощения и верит в животворящего Христа, завещавшего нам прощать врагов, царь должен помиловать убивших его отца.

В христианском государстве не должно быть смертной казни.

В зале произошло что-то неописуемое. Тут уже были не аплодисменты, а всех охватил порыв восторга. К лектору тянулись сотни рук... у многих на глазах были слезы, а некоторые плакали. Соловьев с трудом вышел из залы; пытались вынести его на руках.

Явилась уверенность, что требование-пожелание Соловьева будет удовлетворено. Но более спокойные и неувлекающиеся среди публики здесь же в зале говорили, что царь не помилует первомартовцев; Соловьева же вышлют. Соловьева не выслали, но он вынужден был уйти из Университета. В день казни многие из нас не находили себе места. Я не мог сидеть на лекциях, сказался больным и ушел в лазарет, где, на счастье, никого не было. После долгой борьбы и даже слез мысли сосредоточились на С. Л. Перовской, и ее образ предстал передо мною. Несколько успокоившись, я сел и написал стихотворение, посвященное С. Л. Перовской—„Последний день, последние мгновенья...“ Дня через два я прочел его по рукописи, как будто бы сам списал у кого-то. Его переписывали, гектографировали и оно ходило по рукам.

Первомартовцев казнили на Семеновском плацу, вопреки обычаю—не ранним утром, а часов в 10 утра.

Две „позорные“, по официальному выражению, колесницы с приговоренными к казни и каретою со священниками медленно двигались из Дома предварительного заключения по многолюдным улицам—Литейному, Невскому, Николаевской ул. Очевидцы сообщали, что толпы народа молча, удрученно глядели на них, а многие сворачивали в улицы, чтобы не встретиться с процессией. Ходили слухи, что между процессом и казнью приговоренных к смертной казни пытали. Некоторые утверждали, что Рысаков показывал толпе израненные руки и что-то кричал, но барабанная дробь заглушила его голос. Т. Михайлов дважды сорвался с петли. Толпа думала, что его помилуют, но его снова поставили на скамейку и повесили. В толпе пошел ропот; казаки оттеснили ее от эшафота. Это де-

монстративное афиширование казни еще более оттенило лекцию Соловьева и его смелое выступление. Соловьева не выслали, но он не мог уже выступать на публичных лекциях...

Прежде чем перейти к воспоминаниям о моей революционной деятельности, я остановлюсь еще на одном факте, о котором много говорили в студенческих и профессорских кругах. В. И. Семевский, уже доктор истории, тщетно добивался права читать хотя бы приватный курс по русской истории. По статуту каждый магистр имел право читать приватный курс. Тема исследования Семевского— „Крестьянский вопрос"—не особенно нравилась властям, и Василия Ивановича не пускали в Университет. Наконец весною 1882 года ему разрешили читать приватный курс, кажется, по крестьянскому вопросу. На вступительную лекцию в самой большой, 11-й, аудитории пришли многие профессора и масса студентов. Аудитория была переполнена. Семевский, встреченный громом аплодисментов, сделал общий обзор политической истории, говорил о Павле и о недовольстве им сфер и придворных, о ссоре с наследником, Александром, которому грозил арест. „Но в ночь на 12 марта императора неожиданно не стало". Концепция этого места лекции была такова, что всем стала ясна насильственная смерть Павла I.

Лекции Семевского всегда посещались студентами разных факультетов и курсов. В 1885 году ему запретили читать лекции, и студенты поднесли профессору адрес, за что некоторые из них (Е. В. Аничков) были арестованы.

IX

Подготовка к революционной деятельности. Г. А. Леер, С. В. Мартынов, П. Ф. Архангельский и др. В. Н. Фигнер

Во время моего пребывания в Институте, с августа 1879 г. до июня 1882 г., среди воспитанников не было активных революционеров. Из воспитанников Клочев и Щелкан имели кое-какие связи с революционерами и иногда приносили в Институт нелегальную литературу; но главным поставщиком революционных изданий в Институте был я. Я принял участие в революционном движении только с осени 1881 г. Большинство воспитанников были народники типа половины 70-х годов. Это и понятно: добрая половина их была крестьянского происхождения; многие из них не прерывали связи с деревней и в Институте. К террору они относились скорее отрицательно, чем положительно. За вечерним чаем в нашей столовой часто происходили споры на политические и социальные темы—и спорили горячо, ничем не стесняясь. Иногда и преподаватели принимали участие в дебатах и подчинялись нашему председателю. Среди воспитанников Института правых было только двое: И. Л. Шаталов и Офицеров. Но и они были довольно умеренными и терпимыми в спорах с нами.

Темы для споров давались публичными лекциями, заседаниями различных обществ, особенно Вольно-Экономического, заседания которого мы посещали довольно часто. Газеты и журналы, особенно „Отечественные Записки“,

дали нам не мало материала для споров. Многие статьи прочитывались вслух. Факты из революционной жизни имели в наших спорах первенствующее значение и обсуждались нами всесторонне.

Уже на первом курсе до нас дошли известия о Липецком, а потом Воронежском съездах, о расколе „Земли и Воли". Подавляющее большинство воспитанников не одобряло этого раскола и высказывалось против террора, против покушений на царя, предполагая, что покушения на его жизнь, а особенно убийство, произведут в деревне нежелательное для освободительного движения впечатление и даже вызовут эксцессы против интеллигенции. Эту же точку зрения высказывали наши преподаватели Латышев и Гуревич. Некоторые из нас, очень немногие, отстаивали террор, как самозащиту; но „деревня" (воспитанники-крестьяне) была против и такого террора. Покушение на жизнь Александра II под Москвой вызвало у большинства из нас осуждение. Воспитанников смущали жертвы лиц, совершенно непричастных к правительству, которые должны погибнуть при взрыве поезда. Тем не менее, когда Л. Н. Гартман, участник этого покушения, был арестован в Париже, и русское правительство потребовало его выдачи, мы все, не исключая даже тех, кого мы считали консерваторами, не желали этой выдачи. Мы следили за телеграммами из Парижа и, когда пришло известие о том, что в выдаче Гартмана отказано, устроили в столовой пирушку.

О покушениях на железных дорогах передавались фантастические рассказы. Партия террористов рисовалась нам могущественной организацией, а возглавлявший ее Исполнительный Комитет неуловимым, а для правительства карающим трибуналом. Два слова—„Исполнительный Комитет", как и другие два слова—„Народная Воля",—производили на нас магическое впечатление. Старая „Земля и Воля" потускнела, а о „Черном Переделе" говорили мало, и его организацию мы считали незначительной. Каждый факт из жизни „Народной Воли"—арест А. Д. Михайлова и других членов партии, арест и вооруженное сопротив-

ление в типографии в Саперном пер. и т. д.—горячо обсуждался нами и волновал нас. Много говорили об охране Николаевской железной дороги, по линии которой с обеих сторон на всем протяжении ходили военные караулы. Мосты специально охранялись и нередко под них не пропускали лодок и плотов. Говорили, что по одной реке у моста застрелили плотовщиков, не успевших остановить плот. Многочисленные обыски и аресты еще более сгущали напряженное состояние. В обществе ждали новых покушений, чувствовалось, что что-то должно совершиться.

Взрыв в Зимнем дворце произвел ошеломляющее впечатление. Один из воспитанников принес известие о нем в тот же вечер. Он проходил во время взрыва через Дворцовую площадь, слышал взрыв, видел потухшие у дворца фонари. В самом дворце во всех окнах погас огонь. Ему сказали, что в Зимнем дворце взорвался газ. Но вскоре за ним пришел кто-то другой и уже передал нам, что это был не взрыв газа, а покушение: много солдат убито, но царская семья осталась цела.

Царя спасла случайность. Поезд с принцем Гессенским, в честь которого давался обед, запоздал. Взрыв произошел тогда, когда царь с гостем уже шли в столовую. Патриоты в опоздании поезда усмотрели „перст божий“, совершенно забывая об убитых солдатах. Похороны этих солдат были демонстративно-торжественны, а в течение лета к их могилам на Смоленском кладбище полиция и патриоты устраивали паломничество.

В последующие дни в связи с новыми подробностями впечатление усилилось; авторитет и сила Исполнительного Комитета поднялись в наших глазах на громадную высоту. Вопрос о том, что пострадали невинные солдаты, затушевался перед впечатлением огромной силы партии „Народной Воли“. Говорили, что настал момент, когда покушения приобретают характер открытой борьбы с правительством, которое не может быть спокойным даже в собственной цитадели — Зимнем дворце. Приближалось 25-летие царствования Александра II. К этому моменту ждали манифеста о реформах. Но юбилей прошел, реформ

не было. Тем не менее крепло убеждение, что царь капитулирует, и назначение Лорис-Меликова—первый шаг в этом направлении. Вот почему покушение Млодецкого на Лорис-Меликова, произведенное во время юбилейных празднеств, для нас казалось непонятным[1]. Мы считали необходимым дать выявиться политике „диктатуры сердца“, хотя в общем к этой политике относились с недоверием.

— Замазывает глаза и мажет по губам... Хитрый армянин, надует,—так резюмировал свои взгляды на политику Лорис-Меликова мой приятель П. И. Скворцов.

— Нужен манифест о свободах, о неприкосновенности личности, о подготовке к Земскому Собору, а не игра в жмурки,—была вынесена резолюция после одного из наших политических споров в конце 1880 года.

В связи с лорис-меликовской конституцией не лишне припомнить мое знакомство с начальником Академии Генерального штаба Г. А. Леером, известным военным писателем.

После русско-турецкой войны Леер вывез из Болгарии сироту-мальчика, у которого турки вырезали всю семью. Леер просил Сент-Илера рекомендовать ему учителя для занятий с этим мальчиком, и Сент-Илер указал на меня. Мальчуган, лет 10—12, был понятлив и довольно сносно говорил по-русски. Леер иногда присутствовал на уроках и одобрял методы моего преподавания.

После урока сын Леера, офицер, учил меня фехтованию на рапирах и эспадронах, а потом мы пили чай. Г. А. Леер скоро заметил, что я, как он выражался, красненький.

— Хорошо, что Мишель (так звали моего ученика)—болгарин, а не русский, а то вы, пожалуй, распропагандировали бы его.

— Это для Мишеля не страшно: Мишель не подданный, не обыватель, а гражданин конституционного государства,—отшучивался я.

— Хорошо конституционное государство, где управляют наши генералы, да еще солдафоны, а Баттенберг напоминает мне генерала на купеческой свадьбе.

[1] Покушение было произведено без согласия Исполнительного Комитета.

Леер возмущался нашим вмешательством в болгарские дела, находил необходимым предоставить Болгарии свободно развиваться, а „не при содействии превосходительных русских исправников“. Он был недоволен и нашей внутренней политикой, сетовал, что у русских нет национальной гордости и патриотизма, и прибавлял: „да их и не может быть, потому что мы действительно только подданные, а не граждане“. Он резко осуждал партию „Народной Воли“ за ее террористическую деятельность, которая только усиливает реакцию. Леер находил необходимым дать образование народу, свободу земству и городским думам, представители которых, наряду с представителями дворянства и купечества, должны участвовать в государственном совете.

— Но такого органа государственного управления еще не знает наука государственного права,—заметил я.

— Ну и пусть не знает... Многое у нас самобытно. При таком государственном совете, который я рекомендую, Россия без всяких потрясений перейдет к правильной государственной жизни. Но у нас не понимают, что Россия не может жить вне Европы.

Подобный разговор происходил осенью 1880 г., когда о лорис-меликовской конституции никаких слухов не было. План Леера, как он называл, „государственного переустройства России“ почти идентичен с проектом Лориса. Быть может, Леер передавал план, уже бродивший в голове Лориса, а может быть, это был его собственный. К сожалению, когда пошли слухи о конституции Лориса, я уже не бывал у Леера, и мне не пришлось беседовать с ним об этом проекте.

В декабре 1880 года мой ученик Мишель заболел и был отправлен на юг. Леер много рассказывал мне о русско-турецкой войне, об интригах, когда затирали даровитых полководцев, а выдвигали сановных бездарных генералов.

Он сожалел, что не дали ходу Э. И. Тотлебену, иронически отзывался о Скобелеве и был невысокого мнения о военных талантах Николая Николаевича старшего и наследника.

В конце 80-го года Верховная Комиссия была упразднена, а вместо 3-го Отделения был учрежден департамент государственной полиции; Лорис-Меликов стал министром внутренних дел с диктаторскими полномочиями.

Все осталось попрежнему. Название переменили, а мерзость оставили даже в том же помещении—у Цепного моста,—так комментировали реформу 3-го Отделения.

Но новый, 1881 год мы встретили в бодром настроении, веря в могущество „Народной Воли“ и ожидая событий.

Слухи о лорис-меликовской конституции пошли незадолго до 1 марта. Тогда же начало ходить по рукам юмористическое стихотворение Д. Д. Минаева:

Держась субординации,
В виду порядка строгого
Сыны российской нации
Вас просят, граф, немногого:
Вы дайте нам хоть куцую,—
Но дайте конституцию!

Первые месяцы 1881 г. были крайне напряженными, как будто бы что-то ожидалось. Студенчество также волновалось из-за слухов о новом университетском уставе и новых правилах. Говорили, что день университетского праздника, 8 февраля, не пройдет спокойно, поговаривали, что акт в Университете отменят; но акт состоялся. Попасть на акт было трудно. Но то, что там произошло, нам стало известно немедленно, и мы уже вечером обсуждали речь Л. М. Когана-Бернштейна об университетском уставе, сказанную им с хор зала; много говорили о пощечине, данной П. Подбельским министру народного просвещения Сабурову, читали прокламацию Центрального университетского кружка, которая разбрасывалась в Университете с хор актового зала. Мы горячо обсуждали это выступление Центрального кружка.

С 1881 г. мы жили в довольно тесном общении со студентами высших учебных заведений и принимали деятельное участие в организации землячества. Я уже был знаком с П. Ф. Якубовичем и имел отношение к Цент-

ральному университетскому кружку. По поручению этого кружка мы в мастерской А. В. Пихтина и С. И. Чекулина печатали на гектографе „Дневник студенческих волнений“ и другие издания. Но общеполитические события отодвигали на второй план академические вопросы. Арест М. Н. Тригони и у него А. И. Желябова 27 февраля вызвал много толков. Уже на другой день до нас дошли слухи, что этот арест имеет важное значение, так как выхвачен один из выдающихся членов Исполнительного Комитета. Фамилий арестованных мы вначале не знали, но потом, после 1 марта, они были названы, при чем передавали, что в правительстве большое ликование.

И вот через два дня после этого ареста, когда говорили, что выхвачен влиятельный член партии, совершается акт 1 марта. Впечатление потрясающее, а в связи с арестом Желябова и Тригони это впечатление еще более усугубилось: значит, силы партии неистощимы. По крайней мере так рассуждали у нас в Институте и среди моих знакомых.

Был воскресный день—воскресенье второй недели поста. Я был у брата в отпуску. Мы обедали в 3 часа. Младший брат Николай обратил наше внимание, что на улице что-то произошло: толпа нервная, кучки. Мы посмотрели в окно и у паперти Владимирской церкви увидели кучку народа, о чем-то оживленно разговаривающую. Николай пошел узнать, что произошло, и быстро вернулся:

— Царя убили!..

Мы даже не спросили, где, а как-то застыли. Но вскоре пришел сослуживец брата, Герасимов, и передал подробности. В 5 часов я ушел от брата и пошел бродить по Петербургу. Город как бы замер. На улицах было жутко; они казались безлюдными; у фонарей небольшие кучки людей читали первое правительственное сообщение, но не обсуждали его, а, прослушав, молча расходились. Первые патрули появились довольно поздно к вечеру, когда я уже подходил к Институту. На улицах, в правительстве и в обществе чувствовалась растерянность. Такое же впечатление вынес и Ахутин, исколесивший чуть ли не весь Петербург,

при чем в двух местах ему посоветовали снять плед. Ахутин резюмировал свои впечатления так: если бы у революционеров были небольшие организованные группы рабочих и их вывели бы на улицу, то результаты могли бы получиться самые неожиданные. Как-то потом я передал это мнение П. А. Теллалову, и он заметил:

— Очень вероятно, что это справедливо. К сожалению, мы этого не могли сделать.

Первое правительственное сообщение появилось к вечеру и начиналось словами: „Воля всевышнего совершилась. Господу богу угодно было призвать к себе возлюбленного" и т. д. Говорили, что потом спохватились и сообщение заменили другим, а первое старались изъять.

Но последствий от акта 1 марта не было. Общество не реагировало на это исключительное событие, партия же не могла выступить, потому что у нее не было на это достаточно сил, особенно рабочих. Пошли репрессии, были закрыты и приостановлены газеты; в некоторых из них статьи по поводу 1 марта были написаны революционерами, и это были лучшие статьи.

Все, я думаю, даже и народовольцы, были подавлены грандиозностью совершившегося факта. Раскрытие сырной лавки Кобозева, подробности о метальщиках, арест на Тележной улице и другие факты усугубляли впечатление; но последствий не было. Растерянность правительства исчезла, а аресты Перовской и др. говорили о том, что правительство спохватилось, будет сопротивляться, и реакция усилится. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III поразило всех нас скромностью своих требований. Некоторые из наших воспитанников высказывали даже мнение о том, что не стоило огород городить: и Лорис приблизительно дал бы то же. Но это, конечно, было неверно. 1 марта показало не слабость революционеров, а слабость и неподготовленность русского общества, земских и городских самоуправлений. Общество не сопротивлялось реакции, не говоря уже о том, что не предъявило правительству никаких требований, если не считать выступлений петербургского дворянства и двух-трех земских собраний.

В обществе, особенно, когда пал Лорис-Меликов, стали винить революционеров, что они 1 марта помешали ему провести свою конституцию. С такими суждениями я уже не мог согласиться и горячо возражал, обвиняя общество в пассивности и трусости. Я это говорил и в Институте, и среди знакомых.

Моя судьба уже была предрешена: я принял программу партии „Народной Воли", хотя и не считал себя пригодным к террористической борьбе; я решил работать среди рабочих.

К этой работе я приступал постепенно. На I и II курсах Института я только оказывал услуги партии, не входя не только в организацию, но даже в непосредственное соприкосновение с рабочими. Моя активная революционная деятельность началась с III курса и даже после окончания Института. Но уже на II курсе Института у меня были знакомства и связи с революционерами, из которых я знал и нелегальных.

В 1880 г. я познакомился с доктором С. В. Мартыновым через его брата, студента-медика И. В. Мартынова. Семья Мартыновых считалась среди помещиков Воронежской губернии состоятельной. Старший брат уже в то время был генералом, а сестра—замужем за прославившимся в турецкую войну на азиатском фронте генералом Гейманом. Сергей Васильевич был женат на дочери Перелешина, также крупного воронежского помещика. Этот брак вначале был фиктивным. Его устроила М. Н. Оловянникова для того, чтобы получить средства для партии. Затем, как это не раз бывало, фиктивный брак стал служить образцом для других семей. С. В. Мартынов был замечательно веселый человек, не падавший духом. Я знал его, когда он должен был перейти на нелегальное положение, но он не успел этого сделать и был арестован в декабре 1881 года. Незадолго до своего ареста он передал мне на хранение пакет с документами. После ареста я, его брат И. В. Мартынов и жена арестованного не знали, кому передать пакет. С. В. Мартынов сидел в крепости; на свидании с женой он ухитрился обиняками указать путь,

по которому должен бы быть передан этот пакет. Брат и жена хлопотали о том, чтобы С. В. Мартынова выпустили на поруки, при этом они ссылались на ордена с мечами, полученные им во время русско-турецкой войны.

— Что вы указываете на ордена с мечами,—сказал им, кажется, Плеве,—у доктора Веймара Владимир с мечами, а заслуг на войне куда больше, чем у Мартынова, а каких он дел наделал...

В партии „Народная Воля“ С. В. Мартынов занимал видное положение, что чувствовалось из бесед с ним. Мой товарищ по Институту Я. В. Борисов, хорошо знавший Мартыновых, считал его даже членом Исполнительного Комитета, что так и было. Все это осталось неизвестным жандармам—он работал в Москве и в конце 1881 г. переехал в Петербург.

С. В. Мартынов был арестован в связи с арестом П. А. Теллалова. Он бывал у Мартынова. Кто кого скомпрометировал—проследили ли Теллалова, шедшего к Мартынову, или он привел шпика к квартире последнего—сказать трудно. Пожалуй, скорее последнее. Незадолго до ареста Теллалов был у меня в Институте, а после этого ночевал у Мартынова. Меня не тронули, а их обоих арестовали. С Теллаловым я познакомился у Мартынова, и он произвел на меня своей мягкостью и вдумчивостью самое лучшее впечатление.

С. В. Мартынов, сидя в крепости, не унывал и постоянно шутил в письмах. Когда у него родился сын, а жена написала ему, что новорожденного в честь отца желает назвать Сергеем, он в ответ написал:

„Слов нет, что имя Сергей—почтенное имя. Патрон же мой Сергей Радонежский оказал великие услуги отечеству. Если бы я не был Сергеем, то охотно назвал бы сына этим именем. Но потому, что я Сергей, я не желаю, чтобы моего сына звали тоже Сергей: согласись, что Сергей Сергеевич будет всегда напоминать Скалозуба, и наш сын останется недоволен, что будет полным тезкой тому, кто хотел сжечь все книги“.

Сыну дали другое имя.

С. В. Мартынов был сослан административным порядком на 5 лет в Сибирь, в Минусинск. По отбытии ссылки он работал врачом в Воронежском земстве, где в 1904 г. он и известный педагог Н. Ф. Бунаков произнесли речи о конституции. За эту речь Мартынов был выслан Плеве в Архангельскую губ., откуда вернулся в 1905 г. Умер в Крыму.

В 1879 году на музыке в Летнем саду я познакомился с П. Ф. Архангельским, студентом Медико-Хирургической Академии. Мы скоро сблизились друг с другом, несмотря на разницу лет: он был старше меня. Архангельский был в высокой степени мягкий человек, вдумчиво относившийся к окружающим, терпимый и чуждый всяких резкостей.

Он близко стоял к революционным делам и снабжал меня литературой. Он не втягивал меня в дела, а, напротив, советовал „прежде развиться", быть убежденным человеком, а потом уже итти в революцию, чтобы потом не раскаиваться. Он был арестован и заключен в Дом предварительного заключения. Архангельский не отличался крепким здоровьем, а тюрьма окончательно подорвала его силы: у него развилась чахотка. В виду серьезной болезни его выпустили на поруки буквально за несколько дней до кончины. Эти последние дни я часто бывал у него, и он поражал меня своей духовной силой. Архангельский сознавал, что он умирает, но относился к этому с изумительным спокойствием. Наши беседы вращались около революционных дел. Он часто рисовал мне образ, каким, по его мнению, должен быть революционный деятель. Он предъявлял к такому деятелю большие моральные и интеллектуальные требования—почти до полного отказа от личной жизни. Он указывал, что революционером сделаться никогда не поздно,—„беда, если им делается человек раньше, чем для этого будет подготовлен, раньше, чем сложатся твердые убеждения. Беда и для него самого, и для партии". Почти накануне смерти он говорил мне:

— Не торопитесь в революцию. Работайте над собой. Идите на борьбу только тогда, когда убедитесь, что для этого у вас есть духовные и физические силы и знание, ко-

торое должно дать твердость вашим убеждениям. Если нет такого сознания, то будьте только культурным работником.

Это завещание, данное буквально накануне смерти, запечатлелось в моей памяти. Я старался следовать ему в жизни, внушая его и другим.

Еще до ареста Архангельского я встречал у него не раз студента-медика Е. А. Дубровина. Это был довольно скромный человек, хотя за ним уже был революционный стаж. Он был в свое время землевольцем, а когда я с ним встретился, стал чернопередельцем, что для меня в то время при оценке человека было некоторым минусом. Но Архангельский отзывался о нем прекрасно:

— Нужный, серьезный и вполне надежный, образованный человек.

Быть может, уже в то время С. Г. Нечаев через С. Г. Ширяева, а тот через Дубровина завели сношения с Исполнительным Комитетом. В сношениях этих участвовал и Архангельский, встречавшийся с солдатами из гарнизона крепости, о чем я узнал только в последние годы.

Благодаря связям с революционными деятелями, я иногда приглашался на их вечеринки, где мне приходилось видеть многих активных работников, с которыми впоследствии я близко сошелся. На этих вечеринках меня поражало бесконечное веселье людей, над которыми уже висел Дамоклов меч. Угощение было самое простое—чай, сыр, колбаса, пиво, иногда вино и очень редко водка. На вечеринках я почти никогда не слыхал споров. Люди собирались повеселиться—и только. Если где-нибудь в сторонке пытались заспорить, то спорщиков тотчас же прерывали. Вечеринки проходили оживленно и весело, не менее весело, чем студенческие вечеринки, устраиваемые обыкновенно в кухмистерских. На студенческих вечеринках было не мало пьяных, были и „мертвецкие“, но на вечеринках революционеров пьяных совершенно не было. В конце 1880 года на одной вечеринке я видел Желябова и Перовскую. Софья Львовна скромно сидела за чайным столом и тихо разговаривала с соседями по столу. Желябов, с темнорусой бородой, с длинными густыми волосами, зачесанными назад,

в вышитой украинской рубашке под пиджаком, принимал деятельное участие в танцах (плясал русскую) и пении. Я, конечно, не знал их настоящих имен, но по отношению к ним окружающих чувствовал, что и Желябов, и Перовская в партийной иерархии занимают высокие места. Имена Желябова и Перовской перед 1 марта 1881 г. были мало известны в широких кругах студенчества и общества, если не считать данных процесса 193-х. О них стали говорить уже после 1 марта и особенно после процесса и казни их. Оба эти имени, да еще имя Кибальчича, говорили нам о людях железной воли, твердых убеждений, героях в истинном значении этого слова. С представлением о Желябове было связано представление как о вожде, о Перовской—как женщине строго пуританского характера, до самозабвения преданной идее. Кибальчич рисовался в широких кругах кабинетным ученым, талантливым человеком „не от мира сего“. Вообще имена революционеров делались известны обществу после их ареста и даже суда.

Исключением являлась только В. Н. Фигнер-Филиппова, да отчасти Л. А. Тихомиров, кличка которого „Тигрич“ была известна в студенческих кружках; но имя Тихомирова было менее популярно, чем имя Фигнер, хотя Тихомиров стал известен также и благодаря своим журнальным статьям в „Деле“, которые он подписывал псевдонимами „И. К.“, „И. Кольцов“; статьями мы зачитывались. С конца 1881 г. имя В. Н. Фигнер уже было достоянием широких кругов общества и было окружено особым ореолом.

Для нас, примкнувших к революции, Фигнер являлась, я бы сказал, сверхреволюционером. Много говорилось об ее красоте, изяществе, воспитанности, уме, уменьи держать себя во всех кругах общества, не исключая аристократических. Как революционер, она являлась для нас идеалом, женщиной с железной волей; с 1882 года она осталась единственным вождем и водителем партии „Народной Воли“, не желающим покидать Россию и обрекшим себя на служение народу.

Ее имя было окружено легендами не только среди студенчества, но и среди либерального общества. Люди серьезно говорили, что она посещает придворные балы, что в Одессе за ней увивался чуть ли не градоначальник, а все моряки от нее были без ума. Конечно, эти балы посещались не ради развлечения, а с конспиративными целями. Я во время своей революционной деятельности не встречался с В. Н. Фигнер и лично не знал ее. Я работал в Петербурге, а она была в то время на юге. Но в моих мыслях она занимала видное, первенствующее место. Мы гордились ею и болели за нее душой и сердцем. Наши помыслы были направлены на то, чтобы хранить ее, как зеницу ока. После провала Желябова и Перовской она осталась единственной с безграничным революционным авторитетом, всеми признанным,—я сказал бы, диктатором, окруженным нашей любовью и уважением. Нам казалось, что гибель ее невозможна, потому что это будет страшный, непоправимый удар для партии. Такой она была для меня, когда я только соприкасался с революцией, и это сознание еще более окрепло, когда с 1882 г. я вошел в гущу революционных дел: она невидимо присутствовала среди нас. Все мы звали ее „Вера". О Вере много говорил нам Комарницкий, приехавший по ее поручению из Харькова в Петербург в конце 1882 года. Он был восторженного мнения о Фигнер и передавал нам ее поручения и мнения. Он повторял: „Так сказала Вера", „Таково мнение Веры". Это было своего рода законом для нас.

Так же восторженно, даже благоговейно, говорила о В. Н. Фигнер С. В. Никитина, красивая и мягкая по характеру девушка. Она приезжала в Петербург с поручениями Веры Николаевны в конце января 1883 г., т. е. накануне ареста Фигнер.

И вот в феврале 1883 года, не помню, кто первый сказал мне:

— Вера арестована!

— Не может быть! Этого не должно быть!

Мы были подавлены этим известием. П. Ф. Якубович, В. А. Караулов и др. признавали, что это большая по-

беда для правительства и удар для партии. С. Е. Усова говорила о В. Н. Фигнер и плакала. Мы, молодежь, не шутя обсуждали вопрос, как освободить Веру. В студенческих кружках арест Фигнер долгое время не сходил с обсуждения. Передавали вероятные и невероятные подробности этого ареста. В обществе также много говорили об этом, а Судейкин на допросах, как передавали из тюрьмы, ликующе заявлял чуть ли не каждому допрашиваемому:

— В. Н. Фигнер наконец-то в наших руках!

С. Н. Кривенко рассказывал нам, что Г. И. Успенский, узнав об аресте Фигнер, заплакал, а „Н. К. Михайловский так подавлен этим событием, что уже несколько дней не может взяться за перо". Пролетариатцы—Ф. Ю. Рехневский, А. Н. Дембский, Плосский,—с которыми мне приходилось иметь дело, приняли арест Фигнер близко к сердцу и признавались, что этот арест производит на них большее впечатление, чем арест их друзей, пролетариатцев. Отношение к В. Н. Фигнер со стороны массы студенчества выражалось и в отношении к ее младшей сестре, О. Н. Фигнер, которая была на Бестужевских курсах. О. Н. Фигнер не принимала близкого, как ее сестры, участия в революционном движении, принеся себя в жертву семейному долгу. Когда я с ней познакомился, то ее сестры, Евгения и Лидия, были в Сибири, Вера Николаевна была нелегальной, и, таким образом, у матери, которую так сильно любили все Фигнеры, оставалось два сына и одна дочь, Ольга Николаевна. Она посвятила себя матери. Я был близок, как уже говорил выше, с ее женихом, а потом мужем, студентом-медиком С. Н. Флоровским; у него мы встречались с Ольгой Николаевной и много беседовали о Вере Николаевне. Отношение Ольги Николаевны к сестре было восторженное. Когда В. Н. Фигнер арестовали, Ольга Николаевна с громадным стоицизмом перенесла этот удар, и ее помыслы были направлены к тому, чтобы облегчить горе матери и смягчить условия заключения Веры Николаевны. У Ольги Николаевны был твердый характер, и свалившееся на ее плечи горе она переносила внешне спокойно, продолжала заниматься на

курсах, держать экзамены. Курсистки и профессора к ней отнеслись с предупредительным вниманием, а мы всячески оберегали ее. Когда арестовали жениха ее, С. Н. Флоровского, подруги и товарищи старались выразить ей свое внимание: несли цветы и продукты для Сергея Флоровского.

XII

Революционная деятельность. Институтский кружок. Еврейские погромы. Центральный кружок Университета. Организация Флерова и Бодаева. Занятия с рабочими. П. Ф. Якубович. В. А. Караулов. Общество помощи политическим ссыльным и заключенным. Социал-демократы— группа Благоева и Латышева. Милитаристы, немисты и „дикие". В. Л. Бурцев. Н. К. Михайловский и Н. В. Шелгунов

Среди воспитанников Института не было активных революционеров. В строгом смысле не было и революционных организаций. Правда, со второго года у нас образовалась группа, в состав которой входили: я, П. И. Скворцов, приехавший с Кавказа народный учитель Я. В. Борисов и позднее сибиряк С. И. Чекулаев. Борисов и Чекулаев жили вне Института, на частных квартирах, что для нас представляло известные удобства. Группа не была оформлена, но мы были связаны общностью дел. Первое время мы не вели активной революционной работы, и наша деятельность ограничивалась хранением нелегальной литературы и различных документов и вещей. Иногда нам доверялись чрезвычайно серьезные предметы. Когда шли слухи о возможности обыска в Институте, мы все уносили на сторону.

Другая задача группы была вести пропаганду среди воспитанников Института, освещать правильно революционные события и снабжать товарищей литературой, особенно



Венедикт Арсеньевич
Бодаев

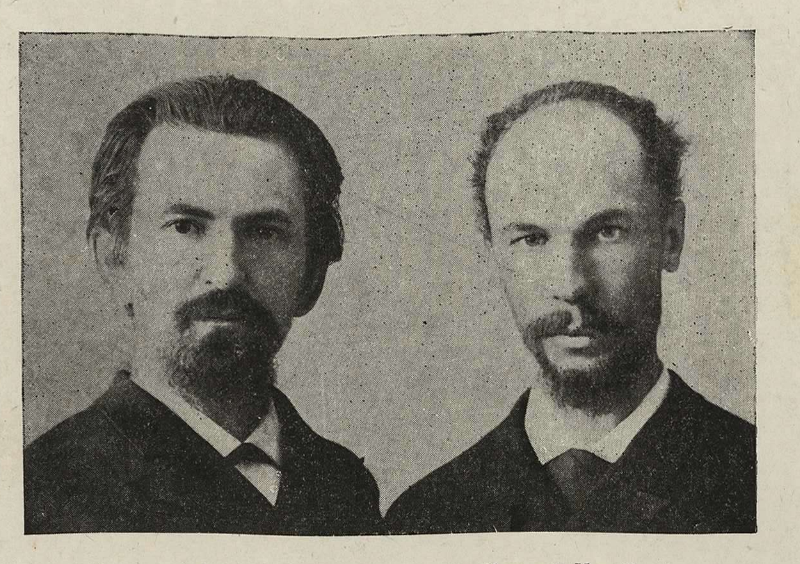
Николай Михайлович
Флеров

XII

Революционная деятельность. Институтский кружок. Еврейские погромы. Центральный кружок Университета. Организация Флерова и [illegible]. Знакомство с рабочими. [illegible]. [illegible]. Общество помощи политическим ссыльным и заключенным. Социал-демократы — группа Благоева и Латышева. Милитаристы, немисты и „дикие". В. Л. Бурцев. Н. К. Михайловский и Н. В. Шелгунов

Среди воспитанников Института не было активных революционеров. В строгом смысле не было и революционных организаций. Правда, со второго года у нас образовалась группа, в состав которой входили: я, П. И. Скворцов, приехавший с Кавказа народный учитель Я. В. Борисов и позднее сибиряк С. Н. Чекулаев. Борисов и Чекулаев жили вне Института, на частных квартирах, что для нас представляло известные удобства. Группа не была оформлена, но мы были связаны общностью дел. Первое время мы не вели активной революционной работы, и наша деятельность ограничивалась хранением нелегальной литературы и различных документов и вещей. Иногда нам доверялись чрезвычайно серьезные предметы. Когда шли слухи о возможности обыска в Институте, мы все уносили на сторону.

Другая задача группы была вести пропаганду среди воспитанников Института, освещать правильно революционные события и снабжать товарищей литературой, особенно



Венедикт Арсеньевич Бодаев — *Николай Михайлович Флеров*

при отъезде их на вакации. С вакаций товарищи привозили иногда сведения, особенно о лицах на местах, которые могли быть полезны революционному делу.

Весной 1881 года пришлось вести беседы с воспитанниками по еврейскому вопросу. Как известно, еврейские погромы перед пасхой этого года охватили весь юг России и приняли грандиозные размеры. В некоторых городах они имели даже противоправительственный характер. Были убитые и много раненых залпами казаков и солдат. Казаки и полиция врезывались в толпу, которая кое-где разгромила полицейские участки. Юдофобов среди слушателей Института почти не было, но к погромам большинство относилось скорее сочувственно, чем отрицательно, усматривая в них антиправительственное движение. Приходилось разбивать эту точку зрения и особенно опровергать тех, кто не на шутку верил и распространял известия о том, что сами революционеры принимают участие в этих погромах. Нужно сознаться, что прокламация Рабочей группы по поводу екатеринославского погрома, а значительно позднее статья в Листке „Народной Воли“ „По поводу еврейских беспорядков“ давали повод говорить о сочувствии партии еврейским беспорядкам. Такие объяснения, как: народ громит не евреев, а „жидов“, которые держат народ в кабале, или что избиение евреев предшествовало Французской революции, делали нашу задачу—бороться с сочувствием к еврейским погромам—довольно трудной.

В самой партии „Народной Воли“ и в „Черном Переделе“, по крайней мере, если не в головке, то в массе, не было определенно отрицательного отношения к погромам.

По этому поводу я беседовал с Теллаловым, Судаковым, Грачевским и др. и не встретил решительности в их суждениях: бунтарская форма столкновения с полицией и войсками, разгромы полицейских частей, избиение властей—эти внешние формы затемняли сущность вопроса. Я не сомневаюсь, что на юге рядовые революционеры и особенно рабочие не только не противодействовали погромам, а, может быть, принимали участие в них, стараясь направить толпы

на полицию. В Москве была даже напечатана, без согласия Исполнительного Комитета, прокламация по поводу еврейских погромов, в которой не было осуждения их... Прокламация на юг не попала, потому что в Одессе она была уничтожена по требованию В. Н. Фигнер.

Не удивительно, что мои товарищи по Институту, напр. увлекающийся Щелкан, серьезно уверяли меня, что „на юг приехали немецкие социал-демократы, чтобы руководить толпой во время еврейских беспорядков“. Отношение „Народной Воли“ к еврейским погромам в 1881 году, отсутствие решительного протеста со стороны партии, а вместо него статьи относительно их двухсмысленного характера—историческая ошибка партии, что я смутно сознавал и в 1881 году много по этому поводу говорил.

Манифест Александра III, опубликованный в апреле, отставки Д. А. Милютина, М. Т. Лорис-Меликова и А. А. Абазы дали богатый материал для наших институтских дискуссий; мы старались убедить наших товарищей в том, что всякие надежды на реформы, даже на „куцую конституцию“ Лориса, должны быть оставлены, и на место их идет реакция во всей неприкосновенности. Воспитанники Института соглашались вести в этом направлении разговоры с знакомыми, когда уедут на родину на вакации. Некоторых из них мы снабдили литературой. Осенью, вернувшись с каникул, Душечкин, Клочев, Щелкан и некоторые другие дали обстоятельные отчеты о том, что они сделали летом.

В 1881 г. я сблизился с некоторыми лицами, с которыми был неразрывно связан до своего и их ареста. Я вошел в сношения с Центральным кружком Спб. Университета и познакомился с П. Ф. Якубовичем (Мельшиным), тогда юным, болезненным на вид, чрезвычайно живым, даже экспансивным, твердо принципиальным, но в то же время мягким и деликатным в обращении с другими. Он был студентом-филологом, занимался много, но лекции, благодаря революционным делам и литературным занятиям, посещал неаккуратно. Экзамены у него сходили благополучно, и в 1882 г. он окончил Университет. В литературном отноше-

нии, в области изящной литературы, он был среди нас самый образованный человек, ценил Пушкина, к которому мы были равнодушны, преклонялся перед Тургеневым и восхищался Л. Толстым. К Достоевскому относился сдержанно, хотя и признавал в нем громадный литературный талант и считал его даже гениальным... Но „сердце не лежит к нему; в его героях много патологического... Я чувствую художественную правду в его произведениях. Читать же тяжело“,—так говорил он о Достоевском.

Среди студенчества имя поэта „П. Я.“ в 1881—82 гг. уж пользовалось популярностью, и его стихотворения читались с интересом. П. Ф. Якубович был занят проектом создать легальный студенческий журнал, который должен был объединить передовое студенчество. На ряду с этим проектом он мечтал и о создании нелегальной газеты, которая должна была явиться органом Центрального кружка Университета, в котором он был одним из руководителей. Эти два задания нас сблизили. Собственный журнал создать не удалось, но Якубович попытался приспособить к намеченной им цели журнал „Русское Богатство“, издаваемый Бажиной. Вышло несколько книг, и журнал прекратился. Снова он возобновился, но без участия Якубовича, в 1883 г. кн. Л. Оболенским, а в 90-х годах „Русское Богатство“ перешло в руки В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, Н. Ф. Анненского и др., а потом и самого П. Ф. Якубовича, который работал в журнале до самой своей кончины. О газете было опубликовано в прокламации Центрального кружка Университета; к первому номеру уже было все готово, но массовые аресты 1882 г. не дали осуществиться плану П. Ф. Якубовича. Журнал „Студенчество“ издавался на гектографе в 1882—83 гг. Вышло пять номеров.

В августе 1881 г. Я. В. Борисов привел ко мне в Институт Н. М. Флерова, студента Университета, а через него я познакомился с его приятелем, студентом-юристом В. А. Бодаевым. Оба они окончили Рязанскую гимназию и в 1880 г. приехали в Петербург, где, разобравшись в программах партий „Народная Воля“ и „Черный

Передел", примкнули к первой. Еще на гимназической скамье они много занимались, вымуштровали себя, выработали в себе чувство ответственности за свои действия, наметили целый план конспиративных правил, которым не мало пользовался и я. Оба они поступили на естественный факультет. Но Университет для них был не целью, а средством, а потому через два года они перешли на юридический факультет. Оба они были связаны узами тесной дружбы, идейно спелись, хотя Флеров был по характеру более спокойный и более ровный, а Бодаев более экспансивный. Никто из них один без другого не принимал серьезных решений. В Университете они вошли в кружок, занимавшийся с рабочими. В состав его входили Л. М. Коган-Бернштейн, П. П. Подбельский и др. Связь кружка с Исполнительным Комитетом поддерживала С. Л. Перовская, которая почти не пропускала заседаний кружка. Флеров и Бодаев знали А. И. Желябова, Г. П. Исаева, А. А. Франжоли, И. Каховского и др. После демонстрации в Университете 8 февраля 1881 г. и 1 марта 1881 г. часть членов кружка перешла на нелегальное положение, кое-кто уехал и пострадал, и кружок распался.

В конце 1881 г. Бодаев и Флеров образовали новый кружок, который вошел в партию как подготовительная группа партии „Народная Воля".

К этому моменту относится и мое знакомство с Флеровым и Бодаевым. Они процеживали новых людей, всесторонне обсуждая их пригодность для революционного дела,—„процедили" они и меня. Флеров предложил мне взять несколько кружков рабочих. Но 1881—82 учебный год был для меня последним годом в Институте. Я был завален работой по выпускным сочинениям, пробным урокам, подготовкой к экзаменам и уклонился от занятий с рабочими до окончания курса в Институте, до весны 1882 г.

Но я поддерживал сношения с группой, участвовал в совещаниях с Флеровым и Бодаевым, у меня в Институте был склад группы, и я был в курсе дел. Приходилось заниматься и с рабочими. К моменту окончания Института мы втроем

образовали Центральный Комитет группы. После летних арестов (1882 г.) Флеров и Бодаев, продолжая быть народовольцами, стали работать обособленно, признавая такой образ действий при тогдашних условиях наиболее целесообразным в интересах дела. Другим организациям и лицам никому никаких сведений о наших рабочих кружках они не сообщали, хотя каждый из них имел сношения с отдельными, по их выбору, народовольцами. Деловые сношения с партией, когда я окончил Институт, велись через меня, а до этого времени, т. е. до окончания курса в Институте, систематически я не вел занятий, а являлся в некотором роде „мужем совета" и был в курсе всех дел нашей группы. Моя роль была чисто передаточного характера. Пользуясь тем, что оба мои старших брата преподавали на фабричных и заводских вечерних курсах и вследствие этого у меня было знакомство со многими учителями этих курсов, я просил братьев и учителей обратить внимание на тех или иных рабочих, которых рекомендовали мне Флеров и Бодаев. Благодаря этим связям удавалось пристраивать на курсы рабочих, когда это сделать обычным порядком было уже невозможно. Подобные факты укрепляли авторитет группы среди рабочих. В свою очередь, брат Илья и другие указывали мне рабочих, на которых, по их мнению, нам следовало обратить внимание. И мы старались войти с ними в сношения. Наши рабочие на курсах пользовались особенным вниманием учителей. Мое знакомство в 1881 г. с В. А. Карауловым, служившим на патронном заводе, дало нам связи с рабочими этого завода. К моменту моего окончания Института наша организация в Петербурге была самой многочисленной и наилучше дисциплинированной среди других рабочих организаций, имела достаточное количество студенческих кружков в высших учебных заведениях.

Флерову с Бодаевым приходилось иногда браться и за чисто народовольческие дела. Так, В. А. Бодаеву пришлось увозить из Петербурга Комарницкого, приехавшего в декабре 1882 г. в Петербург по поручению В. Н. Фигнер. Его вызвал Судейкин и угрожал расправиться с ним, если

он не прекратит революционной деятельности, предупредив его, чтобы он не пытался уезжать из Петербурга— „дальше вокзала не уедете!“ Бодаев увез Комарницкого на тройке в Любань. Участие в этом деле приняли, кроме Бодаева, С. С. Салазкина, Е. И. Шмарев и бестужевка А. В. Кузнецова.

Мы, пропагандисты, объединялись в кружки, которыми руководили Флеров, Бодаев, я, С. С. Салазкин, будущий директор Женского Медицинского Института, и, позднее, Ф. В. Олесинов, Н. П. Мануилов, Г. Н. Добрускина. Из рабочих помню механика Игнатова, столяра Богданова, Косицкого, Антона Цируля. Припомнил бы и других, если бы их фамилии были напечатаны в „Альманахе“ или в „За сто лет“ или в журнале „Народная Воля“. К сожалению, даже в хрониках арестов нет фамилий рабочих, хотя многие из них и были арестованы.

Наша группа была организована исключительно для занятий и пропаганды среди рабочих и до 1883 года никакими другими делами не занималась. Исключением был я, так как у меня были связи с народовольцами и этими связями и благодаря им делами я поступиться не мог. На этом условии я вошел в группу. Группа была вызвана к жизни условиями и формами революционной борьбы, в которые вылилась деятельность „Народной Воли“.

Не нужно забывать, что масса рабочих мало интересовалась политической стороной вопроса, в то время как экономические вопросы и положение рабочего класса всегда возбуждали интерес в рабочем. Развитие политического сознания в рабочей среде мы признавали также необходимым. Но это лучше нас могли сделать старые рабочие. К сожалению, к 1 марта 1881 года ни „Северного Рабочего Союза“, ни „Рабочей группы“ фактически уже не существовало, если не считать кружка Флерова и Бодаева. В. С. Панкратов в своих воспоминаниях в „Былом“ пишет, что конец 1880 и начало 1881 года были чрезвычайно тяжелы для „Рабочей группы“. Силы партии были вовлечены в террористическую борьбу и подсобные ей дела. Сил для занятий с рабочими нехватало. Правда, за это время

были изданы 2-й и 3-й номера „Рабочей Газеты“, но, несмотря на это доказательство, сплоченной, планомерно действующей рабочей организации у „Народной Воли“ уже не было. Были кое-какие кружки, которые часто теряли связь с интеллигентами и нередко продолжали существовать самостоятельно, и мы потом наталкивались на них.

В это время работала только группа Флерова—Бодаева. Целью группы была работа только среди рабочих, ремесленников и групп, по характеру подходящих к ним. Дело это группа Флерова считала чрезвычайно важным, самодовлеющим, которое не следует компрометировать связью с другими революционными организациями, особенно с террористами. Изучая историю террористической борьбы, мы приходили к выводу, что террор нецелесообразно губил революционные силы, вводил в борьбу момент случайности и требовал в организационном отношении самого строгого централизма, что при провалах не раз губило народовольческие организации. Такая строго последовательная централистическая организация совершенно непрактична среди рабочих. Для террора рабочие организации не нужны и, быть может, вредны. Нам самим нужно заняться организацией „Рабочей группы“ и создать фундамент, базу для планомерной революционной борьбы, а это возможно будет только тогда, когда дело освобождения рабочих и всего трудящегося народа перейдет в руки самого народа.

Мы признавали необходимым добиваться минимума политических прав, свободы печати, союзов и агитации, при условии которых только и возможно правильно поставить организацию рабочих для борьбы за лучшее будущее. Но ради этих политических завоеваний мы не считали возможным отказаться от пропаганды социализма. Мы мечтали через рабочих связаться с крестьянством, предполагая наиболее развитых отправлять на родину, в деревню.

„Петербуржец“ в своей брошюре „Очерк рабочего движения в Петербурге“ говорит, что в 1882 году группа народовольцев имела рабочие кружки в различных фабричных районах. Я думаю, он говорит о кружках нашей

группы или благоевцев, так как в это время, повторяю, у „Народной Воли“ кружков рабочих не было. С рабочими из народовольцев в Петербурге в конце 1881 и в 1882 году продолжал заниматься только один О. Нагорный, который вскоре был арестован с тремя рабочими—Евсеевым, Хохловым, Кузюмкиным—по обвинению в убийстве шпиона Прейма.

Последний был убит Евсеевым. Рабочий Горшков, арестованный раньше их, стал выдавать и был освобожден Судейкиным на обычных для последнего условиях. Горшков случайно встретил на улице Нагорного, проследил его, узнал фамилию, которой он не знал, и выдал его Судейкину. Нагорный, Евсеев, Хохлов и Кузюмкин судились и были приговорены к каторге.

В нашей работе мы не раз наталкивались на отдельных рабочих, а иногда и на кружки, принадлежащие к „Рабочей группе „Народной Воли“ или к „Северному Рабочему Союзу“ и даже к „Земле и Воле“. Они потеряли связь с партией, но продолжали работать самостоятельно и имели огромное влияние на рабочих. Землевольцы уже были народ пожилой и вполне установившийся. Такие встречи укрепляли в нас веру в возможность передачи революционного дела в руки трудящихся. Вопрос о русском пролетариате в то время у нас еще не возбуждался.

К осени 1882 года наша группа была настолько значительна и прекрасно организована, с собственной гектографией и даже типографией, помещавшейся в чемодане, что перед нами встал вопрос о программе, которую следовало обдумать и формулировать.

Мы признали, что все революционное дело должно быть передано в руки самого народа и рабочих, а для этого необходимо подготовить и воспитать вполне сознательных и критически мыслящих рабочих, которых, по мере их подготовки, следует вводить в центр группы. Мы наметили несколько рабочих, которых решили объединить в особый кружок, для того чтобы начать заниматься с ними серьезно. Другой подобный же кружок мы наметили для деревни. Мы также признали старый прием хождения в

народ интеллигенции, отвергнутый еще в 70-х годах, нерациональным. С народом необходимо связаться через рабочих, из среды которых нужно подготовлять агитаторов для деревни, а потом отправлять их на родину и помогать им устроиться там. В наш Центральный кружок, благодаря дегаевским провалам, из рабочих мы не ввели никого. В деревню, особенно летом, ездило несколько человек.

В связи с деятельностью среди рабочих и в деревне естественно встал перед нами вопрос о средствах пропаганды и агитации, вопрос о том, как и какими средствами обратить внимание рабочих и крестьянской массы на революционную борьбу. Из личного опыта мы знали, что вопросы политики меньше интересуют рабочих, не говоря уже о крестьянах, чем вопросы хозяйства и экономики. К политическому террору рабочие, не говоря уже о крестьянах, относились равнодушно; он не всегда был понятен для них, а иногда в широких рабочих массах трактовался в нежелательном направлении. Между тем для успеха революционного дела среди народных масс нужна была пропаганда не только словами, но и фактами. Какие же могли быть факты? В 1883 г. между нами обсуждался вопрос о целесообразности, в целях популяризации в массах идеи революционной борьбы, экономического террора, и даже намечались те исключительные случаи, когда, как нам казалось, возможно было применять этот террор. Нам было известно, что этот вопрос поднимался на Воронежском съезде землевольцев в 1879 г. и не встретил там возражений. Конечно, обсуждение вопроса об экономическом терроре имело чисто академический характер. Мы были только местной, петербургской, организацией и не считали себя морально и политически правоспособными начать практиковать этот террор, да для этого у нас не было и сил.

Перейду теперь к нашим занятиям с рабочими. Демагогические приемы при занятиях с рабочими мы считали нецелесообразными, негодными для выработки из рабочих сознательных людей. Демагогия целесообразна в мо-

мент революционного разгара, когда нужно нанести удар и не упустить момента. В подготовительный период такие приемы возможны только при стачке или бунте. В занятиях же с рабочими демагогия вредна, приучая слушателя к фразе, несерьезному отношению к науке и занятиям. Избегали мы и догматического социализма, а исходили из положений научного социализма, беря за основу К. Маркса и „Примечания“ Н. Г. Чернышевского. Если рабочие оказывались дельными, интересующимися, достаточно развитыми людьми, мы начинали заниматься с ними отдельно и знакомили их с историей литературы, основами политической экономии, положением рабочего класса и крестьянства у нас в России и за границей, более серьезно с классовыми отношениями, с государственным устройством и т. д. Мы были социалистами-народниками; с рабочими мы всегда занимались у них на квартирах, и нас встречали приветливо. Конечно, ходили к ним в костюмах „под рабочего“ и назывались псевдонимами, а не собственными именами. Только я не менял ни имени, ни отчества, а назывался Иваном Ивановичем. Очень редких, выдающихся рабочих мы знакомили с некоторыми нашими конспиративными квартирами, а, напр., наборщик Никвист стоял близко ко всем нам и бывал у нас.

Рабочие, я не говорю уже о выдающихся, а о массе, с интересом слушали все, что касается их положения, капиталистического строя и иных форм хозяйства. Даже такие отрасли политической экономии, как деньги, кредит и финансы, привлекали их внимание, и рабочие старались уяснить все эти премудрости, задавая нам вопросы. Политика мало интересовала большинство рабочих, зато международная классовая солидарность рабочих, характеристика классов—были наиболее интересными вопросами для рабочих. Не скажу, чтобы самое понятие „класс“ у нас выкристаллизировалось так четко, как это было сделано значительно позднее в программе социал-демократов. Рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию мы объединяли в одну группу и противопоставляли ей народившуюся буржуазию, землевладельцев и бюрократию с царем во главе.

Пролетариат входил в первую группу, да в России мы его, пожалуй, не особенно принимали в расчет. К либеральной демократии мы относились без вражды, пользовались ее услугами и считали ее нашим союзником в борьбе с царским самодержавием. „Нам с ними еще долго будет по пути“.

Рабочие в общем занимались толково, хорошо слушали историю, любили беллетристику, особенно если она касалась быта крестьян или рабочих. Многие заучивали наизусть Некрасова, Никитина и других поэтов. В большинстве случаев рабочие серьезно относились к своим занятиям, любили нас и готовы были оказывать нам всевозможные услуги. Среди молодежи попадались отдельные лица, которые увлекались фразами и не прочь были похвастаться перед товарищами своим знакомством с революционерами. От таких рабочих, если они не исправлялись, мы старались отстраниться; более серьезно настроенные рабочие помогали нам в этом.

Система занятий с рабочими была такова: мы прочитывали статью или рассказ, а потом беседовали по поводу прочитанного. Часто сами рабочие подымали интересующие их вопросы, а то и мы сами предлагали рабочим продумать тот или иной вопрос, по поводу которого будем беседовать в следующий раз. Обращали их внимание на текущие события в России и за границей. Для занятий мы пользовались легальной и нелегальной литературой, конечно больше легальной—журнальными статьями, рассказами Наумова, Орфанова („Мишла“), Златовратского, Г. Успенского, „Эммой“ Швейцера, „Историей одного крестьянина“ Эркмана-Шатриана, „Спартаком“ Джиованиолли и др. Читали рабочим И. И. Иванюкова, Лассаля, „Примечания к Миллю“ Чернышевского, Флеровского и т. д. К. Маркса реферировали, и эти рефераты, как и статьи Лассаля, старую „Рабочую Газету“, „Зерно“ чернопередельцев, брошюры 70-х годов и др., мы гектографировали в своей мастерской. Журналы, статьи, рассказы мы оставляли рабочим, но нелегальную литературу, гектографированные издания Лассаля, Чернышевского и т. п. мы

оставляли рабочим только в редком случае: если мы были вполне уверены в осторожности рабочего.

Мы не игнорировали малограмотных и безграмотных рабочих и обучали их грамоте и счету.

В наших кружках не только велась политическая и социалистическая пропаганда, но шло и простое обучение грамоте, для чего у нас был достаточный штат учителей. С обучения грамоте рабочих начала в нашей группе свою революционную деятельность Г. Н. Добрускина, впоследствии осужденная на каторгу по процессу Г. А. Лопатина. Кружками грамотности интересовался и С. С. Салазкин, впоследствии директор Женского Медицинского Института в Петербурге. Салазкин был деятельным членом нашей группы и занимался с рабочими. Я, как получивший специальное педагогическое образование, заведывал кружками, обучающими грамоте. Приходилось студентам, курсисткам, врачам, инженерам не только рекомендовать методики, но и самому читать курсы обучения грамоте, счету. Помню, всех заинтересовало мое заявление, что в 4, много в 6 недель, я берусь обучить грамоте, счету и элементарным арифметическим действиям группу в 4—6 человек при условии ежедневных занятий.

В нелегальных рабочих кружках подобные образцовые уроки было давать невозможно. В виду этого ветеринарный врач Карцев, заведывавший петербургскими бойнями, устроил мне у себя на бойнях такую образцовую школу, которую по очереди могли посещать по двое и по трое интеллигентов. Занятия шли по вечерам, но мои ученики, все взрослые мужчины и женщины, служившие на бойнях, стали просить, чтобы я занимался с ними и по праздникам. Учеников было 9 человек. Через полтора месяца все они бегло читали, писали, считали и производили действия над трехзначными числами. Это был, вероятно, единственный пример нелегальной учительской семинарии.

В нашей группе был еще один подобный же пример обучения прикладному искусству. Этим делом занялся художник Езов. Он обучил граверному искусству нескольких наборщиков, граверов и давал уроки живописи ученикам

различных мастерских, где писались для рынка картины и т. п. Вообще наша группа старалась удовлетворить и практическим запросам, которые являлись у наших рабочих. В 1883 г. моя жена, тогда еще невеста, В. А. Лушникова, стала брать уроки кройки у мадам Теодор, чтобы потом эти знания применить для занятий с фабричными работницами.

К концу 1882 г. у нас было около 30 кружков рабочих, в 3—6 человек каждый. Число рабочих кружков постоянно увеличивалось, как росли и студенческие кружки для занятий с рабочими. В это время у „Народной Воли" другой рабочей организации не было.

— Народовольцам не до рабочих, — говорил мне Н. М. Флеров.—Этим делом нужно заняться нам.

И мы занялись рабочими, и с большим успехом.

С лета 1882 г. мы вели работу в контакте с только что тогда организовавшейся группой социал-демократов. Связь с этой группой установилась случайно. Как-то на заседании нашего Центрального кружка Бодаев сообщил, что на одном из выборгских заводов, как ему передали рабочие, какие-то интеллигенты ведут занятия с рабочими. Мне было поручено выяснить дело. Я оделся „под рабочего" и отправился с одним из наших рабочих на полянку у Ботанического сада, где должен был собраться неизвестный нам кружок.

Я болтал с незнакомыми рабочими, которые прекрасно поняли, что я не рабочий, и недоумевали, зачем я пришел. Рекомендация рабочего, с которым я пришел, была для них достаточной гарантией того, что я не шпион. Но вот пришел интеллигент, и на моем и его лицах, вероятно, появилось удивление. Но ни я, ни он не подали вида, что мы знаем друг друга. По окончании общей беседы интеллигент предложил мне пройтись с ним, что было совершенно естественно, так как я был новичок, и интеллигент обязан был меня изучить.

— Иван Иванович, как вы попали в наш кружок?

— Попал, чтобы познакомиться с вами, точнее—проверить, что за интеллигенты занимаются с рабочими и улав-

ливают наших рабочих, а мы этого не знаем. Согласитесь, Петр Алексеевич, что наше любопытство законно, мало того,—оно требуется правилами конспирации.

— Ну, я очень рад, что встретился с вами...

П. А. Латышев, брат моего институтского преподавателя, В. А. Латышев, был уже врач. Я встречался с ним и у его брата, и у покойного П. Ф. Архангельского. Я знал, что он причастен к революции, но считал его чернопередельцем. Латышев познакомил меня с своим кружком. Это была небольшая группа социал-демократов, в состав которой, кроме Латышева, входили болгарин Д. Б. Благоев[1], позднее лидер болгарских социал-демократов, уральский казак Н. А. Бородин, будущий член 1-й Государственной Думы от к.-д., сибиряк М. М. Теселкин, В. Г. Харитонов, Благославов, П. П. Аршаулов, Шатько, кн. Кугушев и др. Главным организатором группы был Д. Б. Благоев, а теоретиком ее, составившим программу группы, был П. А. Латышев. В то время не было резких отношений между партиями. Наша группа хотя и стояла на народовольческой платформе, не была автономна. Мы установили контакт и работали с социал-демократами дружно, и если было удобно для дела, то нередко направляли своих рабочих в кружки социал-демократов, а они к нам. Так мы работали до 1885 г. В январе 1885 г. благоевская группа выпустила № 1 листка группы „Рабочий“ со статьями Г. В. Плеханова и П. Аксельрода и подготовила № 2 листка. Благоев и Латышев редактировали листок, а Харитонов напечатал его. На Бородине лежали сношения с заграницей. В марте 1885 г., когда я уже сидел, группа Благоева—Латышева была разгромлена; Латышева сослали в Вологду, где он умер, а Благоева выслали за границу. С рабочими группы Латышева после их ареста стали заниматься оставшиеся на свободе члены нашей и благоевской групп. Летом благоевцы выпустили в свет № 2 листка.

Таким образом, первой организацией социал-демократов в Петербурге была не группа „Рабочий“, основанная ле-

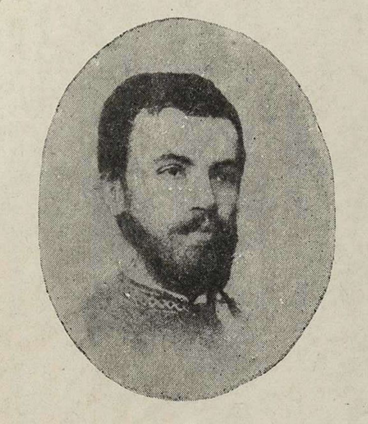
[1] Умер в 1924 г. в Болгарии под арестом.

том 1885 г., а благоевская группа, работавшая в Петербурге с конца 1881 г. Правда, эта группа, как и наша, не имела наименования и не издавала никаких печатных произведений, если не считать двух выпусков листка в 1885 г. Группа признавала социал-демократическую программу, а сами основатели ее—Латышев и его товарищи—называли себя социал-демократами.

В 1881 г. в Институт поступил сибиряк С. И. Чекулаев. Я уже был на последнем, III курсе. Вскоре же я с ним познакомился и сблизился. Чекулаев жил вместе со студентом Университета сибиряком А. В. Пихтиным. Оба они занимались химией и имели большую склонность к технике. Посоветовавшись с хладнокровным и спокойным Н. М. Флеровым и выслушав возражения горячего и экспансивного Бодаева, который всегда считал для себя нужным на наших совещаниях возражать, мы решили использовать влечение этих двух молодых людей. Пихтин и Чекулаев великолепно поставили гектографию и замечательно емкую фотографию. Мы издавали в довольно значительном количестве речи участников политических процессов, их портреты, брошюры, а когда в 1882 г. в Иркутске был казнен учитель Неустроев, сидевший там в тюрьме и давший генерал-губернатору Анучину пощечину,—его биографию и письмо, написанное перед казнью. Мастерская работала хорошо; наши издания славились, и мы исполняли различные партийные работы. В конце 1882 г. у нас явилась еще одна мастерская, даже с небольшим ручным типографским станком, т. е. рамой и валиком. Я познакомился с курсистками С. Обуховской и Гомолицкой и через них с С. А. Андржиковичем. Человек идейный, говоривший на нескольких европейских языках, Андржикович бросил с 7-го класса гимназию и пошел в революцию. Он был хороший рисовальщик и делал нам виньетки и обложки для брошюр. Между прочим, он написал карандашом портрет Желябова, которого знал лично. Я, встречавший Желябова, сделал некоторые указания Андржиковичу, кое-кто еще внес поправки,—Андржикович снова перерисовал портрет, который вышел удачным, и мы издали его в большом

количестве экземпляров. Фотографии Желябова не было, а силуэты, зарисованные на суде, тогда еще не были известны. Таким образом, портрет Желябова, нарисованный Андржиковичем, был единственным изображением революционера. Андржикович изучил граверное искусство и технику типографского дела, был недурным наборщиком и оказывал партии большие услуги, о чем скажу ниже. Страдающий острым ревматизмом, Андржикович был неутомимой энергии и отваги; умел, благодаря сильной воле, преодолевать физическую боль и работать, как здоровый. Большой идеалист, с прекрасным сердцем, он напускал на себя скептицизм и доказывал, что из революционеров ценен лишь тот, кем руководит не идеология, а злоба к правящим сферам и даже месть. Впоследствии, в 1889 г., я с ним встретился в Красноярске. Ссылка измучила его. Болезнь приняла острые формы, материально он сильно нуждался, и к своему революционному прошлому С. А. Андржикович относился иронически, но по существу остался идеалистом.

В 1881 г. нашей группе случайно удалось устроить еще одно важное дело. В Институте недолгое время слушал лекции А. С. Антонов, отец которого занимал довольно видное место в Главном почтамте и жил там. У Антонова мы часто собирались по вечерам, и отец относился к нам приветливо. После выхода Антонова из Института вечеринки продолжались. Я сблизился с отцом; тот, конечно, вскоре узнал, что я не чужд революционных дел, и вот однажды, когда в комнате никого не было, он попросил меня зайти к нему утром: „не на службу, а на дом". Я зашел и получил под величайшим секретом список лиц, письма которых перлюстрируются. Список был далеко неполный: Антонов дал имена, как ему казалось, более известных. Эти списки постоянно пополнялись и старыми, и новыми именами. Не приходится говорить, какое важное значение имели для партии эти сведения. У Антонова же не раз приходилось наводить справки о благонадежности того или другого адресата. Имя Антонова, кроме Флерова и Якубовича, я никому не называл; сношения с Антоновым прекратились в 1883 г., когда он сильно заболел.



Дмитрий Николаевич
Благоев



Ольга Николаевна
Фигнер

Весной 1882 г. В. В. Караулов ввел меня в состав „Общества помощи политическим ссыльным и заключенным“ („Синий Крест“). Здесь я познакомился и близко сошелся с С. Е. Усовой, учительницей городской школы, и особенно с А. Н. Шипицыным, который был фактическим секретарем общества. А. Н. Шипицын был сибиряк и близкий приятель Пихтина и Чекулаева и занимался только „Обществом помощи политическим ссыльным и заключенным“. От других революционных дел он уклонялся, считая помощь „пленникам-революционерам“ таким же важным делом, как и другие революционные дела. Он был хороший товарищ, искренний и отзывчивый человек. В Университете его любили, да и трудно было не любить его. Красавец собой, хороший певец, отличный танцор, он был и любимцем дам. Никто так не плясал русскую и не запевал так „Дубинушку“, как он. При содействии своих товарищей по Институту я собирал относительно большие средства, а главное—удалось организовать систематическую посылку газет, журналов и книг ссыльным.

Таким образом, к моменту окончания курса в Институте я уже вплотную вошел в революционные дела. После нас наша институтская группа растаяла. Чекулаев и Борисов вышли до окончания курса. Я и Скворцов кончили курс в Институте в 1882 г., и Скворцов уехал из Петербурга. Я поддерживал сношения с Институтом и после, но тогда там уже не было никакой группы, и я сносился персонально. Некоторое время в Институте была квартира для хранения документов, литературы и т. д. К концу 1883 г. по конспиративным соображениям пришлось и эти сношения передать другим... Пришлось оставить и многие прежние знакомства, между прочим и наших приятельниц Обуховскую и Гомолицкую, у которых я познакомился с И. И. Гриневицким, А. В. Подбельским, С. А. Андржиковичем, И. А. Прозоровским и др. поляками. Обе они были типичными курсистками, при чем Гомолицкая больше интересовалась науками, но не чуралась и революции, Обуховская же мечтала о революции, увлекалась Маратом и Робеспьером, скорбела, что она дворян-

ского происхождения. Гомолицкая, несмотря на знакомства с пролетариатцами, окончила Бестужевские курсы, а Обуховская высылалась несколько раз и умерла, кажется, в ссылке. После Института в связи с революционной деятельностью у меня возникли новые связи и знакомства, между прочим и среди сибиряков.

В Институте или несколько позднее, не помню, пришлось столкнуться с небольшой группой „милитаристов". У нас в группе были и солдатские кружки, а также сношения с юнкерами военных училищ. И от солдат, и от юнкеров мы узнали, что с ними имеют сношения какие-то интеллигенты, при чем назвали их клички, нам неизвестные. При этом юнкера передали нам, что эти интеллигенты, не осуждая партию „Народной Воли", а даже одобряя ее петербургские выступления, доказывают, что в России настоящей революции в скором времени не может быть, а вполне возможен захват власти руками военных, через военный переворот. Они говорят, что декабристы упустили „великолепный момент для захвата власти": они без жертв легко могли арестовать в Зимнем дворце Николая в самом начале дня 14 декабря.

Эти интеллигенты нас заинтриговали, и мы искали случая познакомиться с ними. За это дело взялся осторожный Н. М. Флеров и блестяще выполнил поручение. Мы познакомились с неизвестными интеллигентами и узнали, что это кружок „милитаристов", которые ограничивают свою деятельность исключительно военной средой. Они не прочь организовать кружки среди не-военных, но только для выработки пропагандистов для военных. Они считали себя социалистами, но осуществление социалистического идеала относили к отдаленнейшему будущему, когда „все люди переродятся". Ближайшая же их цель—политический переворот, который может быть произведен только военным восстанием, военным заговором. Рабочие для такого переворота бесполезны и даже могут быть вредны: у них мало дисциплины и повиновения. Организация партии, намеченная милитаристами, должна была иметь характер организации карбонариев. Группа была немного-

численна и просуществовала недолго. Она была разгромлена, при чем арестовали несколько юнкеров военных училищ Петербурга. Были аресты и среди солдат. Фамилии участников совершенно исчезли из моей памяти, за исключением Бражникова, ставшего народовольцем и сосланного из Харькова административно на 10 лет на Сахалин.

В начале 80-х годов существовала небольшая группа, по своей программе как будто бы близкая к милитаристам,— группа „немистов". Их было всего несколько человек, и они, кажется, видели единственный выход для водворения социализма в дворцовом перевороте, после которого на престол следует посадить „своего царя", и „свой царь" путем манифестов и декретов введет социализм. У „немистов" не было даже организации, и вообще они не имели никакого значения. Из них помню только Сазонова, имевшего отношение к журналистике, да сестру благоевца кн. Кугушева. Мы относились к ним с большой осторожностью. В партийных кругах говорили, что к „немистам" внимательно относится Судейкин.

В эпоху, пережитую мною в Петербурге, мне пришлось встречаться, я сказал бы, с „дикими" революционерами, т. е. не входившими в состав ни одной из существующих партий и не примыкавшими ни к каким группам, а оказывавшими большие услуги революционному делу вообще. Их нельзя отнести к сочувствующим и помогавшим: революция была для них главной целью их жизни. К таким я отнес бы уже упомянутых мною выше Чекулаева, Пихтина, Шипицына. Был кружок Прозоровского и Ястржембского, составленный исключительно из технологов, кружок молоканина Степанова, П. Мануилова, Н. И. Семенова, будущего члена Первой Государственной Думы, и др. У путейцев, наряду с народовольческим кружком, основанным С. П. Дегаевым и С. Ч. Куницким, были и другие кружки, напр. А. Я. Ауслендера. К одному из них принадлежал кн. Г. З. Андронников, потом перешедший в кружок Куницкого. В Медико-Хирургической Академии имел с нами сношения кружок Бардаха, впоследствии известного в

Одессе бактериолога. На Бестужевских курсах было несколько кружков и между ними многочисленный кружок Судаковой, Обуховской, Гомолицкой, сестер Трубниковых и др.; к этому кружку имела отношение О. Н. Фигнер. Некоторые из этих кружков занимались самообразованием, другие вели пропаганду среди рабочих, гектографировали и т. д. В Университете был еще кружок А. А. Корнилова, Д. Ю. Старынкевича (брата народовольца И. Ю. Старынкевича), Д. И. Шаховского, Ф. и С. Ф. Ольденбургов, Н. М. Гревса, Крыжановского (потом ушедшего вправо и ставшего тов. министра внутренних дел) и др. Этот кружок избегал заниматься политикой; по его инициативе возникло Научно-Литературное Общество, председателем которого был О. Ф. Миллер. С правыми организациями он не якшался, а когда в члены его вошли правые, то вскоре были вынуждены уйти из него. Члены кружка, не сочувствуя студенческим волнениям, не уклонялись от них, а в 1882 г., во время поляковской истории, были арестованы вместе с другими и уведены в манеж Павловского Училища. Этот кружок дал ряд лиц, заявивших себя в общественной жизни, науке и литературе. Революционные кружки оказали много услуг революции и выполняли важные, ответственные поручения. Некоторые из них были принципиальными противниками организации, не считая для себя возможным беспрекословное подчинение дисциплине.

К числу „диких“ я отнес бы и В. Л. Бурцева, тогда очень юного, живого, веселого, с недоумевающим выражением в глазах, студента Университета, окончившего курс в уфимской гимназии. Он был „ушиблен“ революцией еще в гимназии и приехал в Петербург в достаточной степени распропагандированным не столько другими, сколько чтением. Вначале он окунулся в академические дела и принимал участие в студенческих делах. В ноябре 1882 г., когда Университет был оцеплен полицией и жандармами, и студентов, собравшихся на сходку в актовом зале, увели в Павловское Военное Училище и потом развели по частям, и он был арестован. Он просидел несколько дней

в полицейской части вместе с другими, распевал и сочинял на мотив „Ах, дербин, дербин Калуга, Тула, родина моя"— куплеты: „Как на 3 ноября собралось студентов тьма". За эти волнения университетский суд наложил на Бурцева какое-то дисциплинарное взыскание. После этих волнений Бурцев ушел в революцию и выполнял много важных поручений. Он и в это время был склонен собирать материалы для истории партии и считал это наиважнейшим для себя делом. В 1884 г. Бурцев был арестован, долго сидел, потом был сослан в Восточную Сибирь, откуда в 1888 г. бежал, переодетый гимназистом. В Иркутске ему даже „выправили" диплом об окончании гимназии: настолько он был моложав на вид.

Занимаясь революцией, мы не были теми пуританами, каким я был в переходном возрасте. Мы ходили в театры и посещали вечеринки и студенческие балы. И в театрах, и на вечеринках часто происходили деловые свидания, и под шум веселья велись серьезные переговоры. Вечера и вечеринки иногда были удобны и для агитации,—для того, чтобы бросить какой-нибудь лозунг, затянуть запрещенную песню и даже сказать речь. Флеров, Бодаев и я избегали таких выступлений, а первые двое совершенно не посещали вечеринок, но другие иногда грешили подобными выступлениями, не только молодежь, а такие солидные люди, как Н. К. Михайловский и Н. В. Шелгунов.

Студенты-медики в декабре 1882 г., в связи с выпуском врачей из Медико-Хирургической Академии, дали бал в гостинице „Демут". Бал этот среди больших студенческих балов выделялся своей грандиозностью и попал на страницы романа кн. Оболенского.

Залы были переполнены. Среди публики много представителей литературы и общественных деятелей. Были тут и представители революционного мира, между прочим П. Ф. Якубович, братья П. А. и В. А. Карауловы, С. Е. Усова, С. Н. Кривенко и др. В. А. Караулов, зная, что П. Ф. Якубович не выступает публично, шутя подбивал его выступить в отдельной комнате, где речи лились без конца и читались революционные стихотворения.

— Бросьте шутить. Я ничего зазорного не вижу в этих выступлениях. Если бы я не занимался более серьезными делами, то, конечно, прочел бы здесь стихотворение, ну хотя бы „Весну“, а может быть и что-нибудь нелегальное.

Говорили преимущественно студенты на тему о высшей школе. Условия высшей школы ухудшались, носились слухи о новом университетском уставе... В высших учебных заведениях вообще было приподнятое настроение.

Довольно поздно на вечер приехали Михайловский и Шелгунов. Они запоздали, потому что обедали у Шелгунова, за столом, который он только что сделал сам. Со всех сторон понеслись возгласы: „Николай Константинович, скажите что-нибудь“... „Михайловский, Шелгунов,—речь!“

Михайловский поднялся на стол и сказал в кратких словах о долге народу: „...Но об этом долге студентам, да еще медикам, будущим земским врачам, не приходится напоминать. Выполняя этот долг, не нужно забывать о другом долге, который является долгом чести и без выполнения которого не может быть выполнен настоящим образом первый долг. Вы должны уяснить себе, откуда идут всякие стеснения, ставятся препоны для того, чтобы затормозить правильное развитие общества и держать народ в невежестве. Не отворачивайтесь от этого вопроса; жизнь выдвинет его на первых же шагах вашей деятельности. Углубитесь в него, изучайте и помните не только о ваших обязанностях, но и о долге чести...“

Михайловского сменил Шелгунов, который выразил полную солидарность с речью Михайловского. Студенты качали их обоих и, кажется, вынесли на руках.

— Жидковато,—бросил замечание В. А. Караулов,—можно было бы пояснее...

Якубович недоумевающе посмотрел на него и заметил:

— Я бы на месте Михайловского и это не сказал бы... Зачем? Он нужнее в „Отечественных Записках“...

Якубович был прав. На другой день Михайловский и Шелгунов были вызваны к градоначальнику и высланы: один в Выборг, а другой в Любань.

XIII

Наше сближение с революционными организациями. „Пролетариат". Слияние с „Народной Волей". Условия работы в 1883 г. Дегаевщина

В июне 1882 г. я окончил Институт, занял место учителя истории и русского языка в училище Тименкова-Фролова и поселился с матерью, сестрами и младшим братом Николаем на Моховой. В материальном отношении мы были вполне обеспечены. Я получал свыше 100 р. и ежедневный паек: 3 фунта мяса, муку, масло, сахар и пр. Мог жить в училище, но, в виду моих революционных дел, я предпочел нанять частную квартиру, отказавшись от казенной под предлогом, что она (2 комнаты) мала... Квартиру я нашел на проходном дворе, выходящем на Сергиевскую и на Моховую, в доме с десятком квартир... Все это было для меня важно в конспиративном отношении, так как революционные дела я считал главной задачей своей жизни. Наша группа была в 1882 г. значительно больше и организованнее народовольческой „Рабочей группы". В нашем распоряжении были летучая типография, гектография, фотография и небольшое паспортное бюро. Внешние сношения с „Народной Волей" и другими организациями лежали на мне. Флеров и Бодаев, посвятившие себя исключительно работе среди рабочих, находили нецелесообразным входить в тесные связи с партией, практикующей террор. В интересах общего дела они считали, что для всех будет выгоднее, если рабочая группа будет работать обо-

собленно... Они не отрицали необходимости, даже неизбежности, террористической борьбы, но находили, что эта борьба скорее скомпрометирует нашу группу, чем мирная рабочая пропаганда. В целях экономии сил, подготовления кадра революционных работников, даже для того же террора, выгоднее было во всех отношениях, чтобы наша группа держалась по возможности обособленно. И Флеров, и Бодаев были отличные конспираторы, и благодаря их осторожности участники нашей группы в общем отделались только административными ссылками. Флеров уже тогда имел в своей народовольческой идеологии, как мы называли, провалы. Он интересовался чистой социал-демократической программой. Когда он познакомился с П. А. Латышевым, то мы смеялись, что в лице Латышева пустили в огород козла, и он, чего доброго, уведет нашего друга. Впоследствии, в 90-х годах, когда я встречался с Н. М., он уже примкнул к социал-демократам. В конце 1882 или в начале 1883 г. в наш центр вошел студент-технолог Ф. В. Олесинов, у которого была своя небольшая организация рабочих и свой кружок интеллигентов. Мы четверо—Флеров, Бодаев, Олесинов и я, позднее вошел П. Мануилов—составляли центральный кружок и работали все вместе вплоть до наших арестов.

Желание жить обособленно было твердое, а жизнь нас толкала все ближе и ближе сходиться с „Народной Волей“. Это сближение шло и прямо, через Александра Ивановича (псевдоним П. Ф. Якубовича), „Заику“ (псевдоним С. А. Иванова), Н. М. Салову и др., и косвенно, через польскую партию „Пролетариат“. Уже самый факт, что Флеров и Бодаев не только признали, но и возложили на меня представительство для сношений с „Народной Волей“, да и сами не отказывались от сношений с отдельными народовольцами,—говорил о том, что в обособленности нашей группы, в какой она жила до весны 1882 г., была пробита брешь. Новая брешь была сделана представителями в Петербурге „Пролетариата“. Мы почти одновременно столкнулись и с этими представителями и с тремя рабочими-поляками, приехавшими из Варшавы. По своей

культурности и общему развитию эти рабочие выгодно отличались от наших рабочих. За справками об их революционной порядочности и стойкости пришлось обратиться к пролетариатцам. Через С. Обуховскую, курситку Онуфрович, студента А. В. Подбельского и С. А. Андржиковича я был уже знаком с тремя крупными представителями „Пролетариата": студентом Института Путей Сообщения С. Ч. Куницким и студентами Университета А. Н. Дембским и Ф. Ю. Рехневским. Последнего за большие знания в студенческой среде звали „маленьким Марксом", а его партийная кличка у пролетариатцев была „Круль". Через них я навел справки о рабочих-поляках и получил благоприятные для рабочих сведения.

До „Пролетариата" среди польских студентов в Петербурге существовали две революционные организации—одна социалистическая, вскоре выданная Родзевичем, а другая—кружки и группы поляков, стоявших на платформе независимости Польши и живших традициями польских восстаний 1831 и 1863 гг. Более правые из этих групп были не прочь восстановить историческую Польшу. Все эти кружки относились отрицательно к социалистам. В 1882 г. в Польше организовалась социалистическая партия „Пролетариат". Центральный Комитет „Пролетариата" поручил Куницкому, Дембскому, Плосскому и Рехневскому организовать кружки „Пролетариата" и в Петербурге и признал их своими представителями для сношений с „Народной Волей". Они энергично принялись за организацию кружков и столкнулись с группами, стоявшими на платформе независимости Польши. Представители этих групп старались „оберечь" от социалистов приезжавшую из Польши молодежь. Социалистически настроенные поляки прозвали эти группы „Доезжальней", от слова „доезжать". „Доезжальня" была особенно сильна в Технологическом Институте, где шли постоянные дискуссии между пролетариатцами и представителями „Доезжальни". Но „Пролетариат" пользовался среди польской учащейся молодежи большими симпатиями, чем „Доезжальня". Сочувственно к партии относились и в польском обществе.

В. Д. Спасович покровительствовал Куницкому, Дембскому и особенно Рехневскому, которого он ценил очень высоко. В 1883 г. организация кружков „Пролетариата" пошла успешно, особенно когда была опубликована программа партии. В половине 1883 г. „Доезжальня" сошла совершенно на-нет, и мы о ней уже больше не слыхали.

Наша группа сблизилась с пролетариатцами в начале 1883 г., и мы повели работу, можно сказать, сообща: пролетариатцы давали нам пропагандистов для рабочих из своей среды. Личные отношения между нами были приятельские, особенно у меня с Куницким. Программа „Пролетариата" была близка идеологии Н. М. Флерова; он познакомился с Рехневским и любил с ним беседовать, а потом сошелся и с другими пролетариатцами. Мы выполняли и поручения „Пролетариата", особенно летом, когда многие из них уезжали на каникулы. Отношения между „Народной Волей" и „Пролетариатом" были дружеские и даже тесные. В начале 1884 г. между обеими партиями был заключен федеративный союз, о чем было объявлено в № 10 „Народной Воли". Договор закрепил то, что уже было в жизни.

После 1882 г. революционная обстановка в Петербурге была такова, что работать какой-нибудь группе или партии обособленно было невозможно. Июньский (1882 г.) провал в Петербурге, когда была выхвачена головка народовольцев—М. Ф. Грачевский, А. В. Буцевич, А. П. Корба, А. В. и Р. Л. Прибылевы, М. Ф. Клименко и многие другие—нанес тяжелый удар партии. Многие связи затерялись, и группы, работавшие обособленно от „Народной Воли", нередко находили эти связи, и их приходилось передавать оставшимся на воле народовольцам. Нередко люди, затерявшие связь с партией, стремились восстановить ее и обращались к нам. Июньский удар не коснулся нашей группы и поляков. Петербургская же группа „Народной Воли" сильно пострадала. В. А. Караулов, П. Ф. Якубович, С. А. Иванов, позднее Н. М. Салова должны были собирать разбитые остатки партии. Это было не легкой для них задачей. Настроение было

неважное, но руководители духом не падали. Правда, иногда минорное настроение прорывалось наружу. Довольно часто мы собирались у В. А. Караулова на Песках, против Таврического сада. За чаем за большим столом усаживались: брат Василия Андреевича—Николай Андреевич, жена Прасковья Васильевна, урожденная Личкус, сестра жены С. М. Кравчинского, тогда еще медичка, П. Ф. Якубович, я и иногда англичанка Е. В. (Лиля) Буль, будущий автор „Овода“ [1].

— А ваши Флеров и Бодаев все еще сторонятся от нас, как запрокаженных,—пускал реплику Якубович.—Передайте им: ведь пропадем—им же придется приниматься за наши дела и собирать крохи.

— Ну нет, не пропадем, а еще „повоюем“,—подражая тургеневскому „Воробью“, с густым смехом довольно низким басом говорил В. А. Караулов.

Но в этой реплике не было веселья, не было смеха.

— Василий Андреевич по обязанности службы, в качестве главнокамандующего, собирающего остатки армий, должен высоко держать знамя и, несмотря ни на что, итти вперед,—замечал я.

— Нет, Иван Иванович, сам знаю: гадко вокруг; но не нужно падать духом,—отвечал он мне.

— Да мы и не падаем духом и будем стоять на своих местах до конца,—горячо поддерживал Якубович.

Милая, беззаветно преданная делу П. В. Караулова шутя цыкала на нас, наливая нам чай и угощая вареньем и вкусными печеньями.

— Ну, ну, belle soeur, не цыкайте,—замечал Н. А. Караулов,—просто люди устали, захотели на курорты отдохнуть.

[1] В 1889 г. В. А. Караулов был выслан из Шлиссельбургской крепости в Усть-Уду, Иркутской губ. П. В. Караулова, его жена, тогда уже врач, взяла в Усть-Уде должность фельдшерицы. Проездом к мужу она прожила некоторое время в Иркутске, где вращалась среди ссыльных. Здесь она познакомилась с административно-ссыльным провизором Войничем, который решил бежать из ссылки за границу. П. В. Караулова дала ему адрес англичанки, уже уехавшей в Лондон. Войнич благополучно доехал до Лондона, познакомился с Е. В. Буль, а потом на ней женился.

— Вот и поедем в Италию,— приглашала англичанка, хорошо говорившая по-русски.

— Кто знает, может быть придется и в Италию, а то и далее,—загадочно произносил Якубович.

Но такое настроение продолжалось недолго; все мы старались встряхнуться и заглушить в сердце „червя сомнения“. Якубович начинал читать свои или из Бодлэра стихи; В. А. Караулов выхватывал место о реформации из статей в хрестоматии Гуревича, которую я ему раньше принес. Прасковья Васильевна и англичанка садились за рояль, а Николай Андреевич иногда подпевал.

В. А. Караулову и Якубовичу принадлежит громадная заслуга: Караулов после июньского разгрома, а Якубович после развала, во время дегаевщины, сохранили остатки партии до приезда из-за границы Н. М. Саловой и Г. А. Лопатина. Несмотря на безвременье, несмотря на судейкинскую провокацию, в партии уцелели силы, энергия, мужество, чтобы ликвидировать дегаевщину по-шекспировски,— так Флеров характеризовал после убийства Судейкина этот факт. Все было возможно только потому, что Якубович, Караулов и С. Иванов, особенно первые два, собрали, восстановили и объединили в Петербурге народовольцев, разбитых в 1882 г. и в начале 1883 г., когда влияние Исполнительного Комитета было сведено почти на-нет и только сношения с В. Н. Фигнер говорили об этом комитете. Кто-то пустил крылатое словечко—„салонный Исполнительный Комитет“, вероятно имея в виду собрания у В. А. Караулова; но эти собрания выполнили большую ответственную роль, сохранив партию „Народная Воля“ еще на два-три года в небывало-тяжелое время. Ни карауловы, никто из участников этого кружка никогда не думал присваивать ему наименование Исполнительного Комитета. Несколько позднее приехавший из-за границы Г. А. Лопатин, любитель острых словечек и прозвищ, прозвал этот комитет „соломенным“.

В 1882 г. я познакомился с М. П. Овчинниковым („Дедом“), а в 1883 г. с М. В. Сабунаевым („Лысым“). Оба они были уже немолодые люди и их старили: первого—

большая русая борода, а второго—лысина во всю голову. Оба они много поработали для революции, побывали в Сибири, оба бежали оттуда и успешно скрывались, несмотря на свою примечательную наружность.

Особенно был ловок Сабунаев, который всегда уходил как-то незаметно, точно испарялся. В мое время Овчинников работал в Петербурге, а Сабунаев больше разъезжал по России.

Как-то Овчинников ночевал на Петербургской стороне, во втором этаже деревянного дома. Жандармы пришли с обыском, а Овчинников благополучно выскочил из окна и ушел. Он примыкал к нашей группе.

Пережить дегаевское провокаторство — этот тяжелый крест выпал на долю П. Ф. Якубовича, С. А. Иванова, М. П. Шебалина, К. А. Степурина и всех тех, кто работал в 1883 г. и в начале 1884 г. Караулов переживал в Петербурге первые необъяснимые провалы, а затем уехал за границу и в январе 1884 г. был принят в центральную группу, образованную Л. Тихомировым и Ошаниной, а когда вернулся в Россию, то для него причины провалов были уже ясны. Он недолго пробыл в Петербурге и уехал в Киев, где в 1884 г. был арестован.

С конца 1882 г. мы, не входя в состав партии, работали с „Народной Волей"; так работали не только мы, но и пролетариатцы, которые занимались больше народовольческими, чем своими делами. Дембский шутя говорил мне, что в Петербурге он народоволец, а в Варшаве пролетариатец. У Ф. Ю. Рехневского весной 1883 г. я познакомился с Петром Алексеевичем (С. П. Дегаевым), который, конечно, интересовался и пролетариатцами. Мы друг о друге слыхали, и нас должен был познакомить Александр Иванович (Якубович). Я знал, что Петр Алексеевич занимает видное место в революционной иерархии. Несмотря на это, он на меня произвел неблагоприятное впечатление, от которого я не мог отделаться и при последующих наших встречах. Дегаев упорно избегал смотреть в глаза говорившему с ним: глаза его постоянно бегали; красная сыпь на лбу также не располагала к

нему, как и вся его небольшая, сутуловатая, худощавая фигура. Я передал свое впечатление от встречи с Дегаевым Якубовичу, который пробрал меня, указав, что нельзя придавать значение первому впечатлению, да еще по внешнему виду.

К 1883 г. я был уже завален революционными делами. Все свободное от школьных занятий время я посвящал этим делам. Несколько раз попадал под слежку, но путем разных ухищрений мне удавалось отделаться от шпиона. С этой целью приходилось заходить в церкви, театры, ехать на поезде и на удобном месте спрыгивать с него. Для последнего случая у меня всегда был какой-нибудь сверток, который можно было оставить на лавке вагона, а самому выйти, как будто бы в уборную. Раз пришлось поплатиться пальто. Мне никак не удавалось отделаться от шпиона. Я зашел в Гостиный двор, в магазин готового платья. Я снял пальто и стал примерять пиджак, для чего уходил за ширму и выходил к зеркалу. Пальто лежало на видном месте, а шпик торчал у окна. Когда я убедился, что из магазина есть выход на двор, я спросил об уборной, вышел на двор и был таков. Пальто осталось лежать в магазине; в карманах его не было даже носового платка.

Для свиданий у меня было несколько квартир, вполне надежных. Одна квартира была у вдовы горного инженера А. Е. Шестаковой. В этой квартире, когда мы вели переговоры о слиянии нашей группы с „Народной Волей“, у нас (Флерова, Бодаева и меня) происходили совещания с Якубовичем, Степуриным, С. Ивановым и др. Здесь же не раз печатались листки для сбора пожертвований. У Шестаковой по воскресеньям собиралась молодежь, преимущественно сибиряки; дочь ее, А. М. Шестакова, была медичкой и оказывала нам разные услуги. На этих вечерах я познакомился со слушательницей Бестужевских курсов В. А. Лушниковой, с которой в 1884 г. повенчался. Для деловых свиданий были у нас и другие квартиры, напр. у председателя Технического О-ва Небольсина, у литератора С. А. Венгерова и даже у подполковника, сына на-

чальника Академии Генерального Штаба Леера, а также у моей невесты В. А. Лушниковой. Жила она у своего дяди, известного в свое время горного инженера И. В. Баснина. Сибирячка, кяхтинка, окончила она гимназию Спешневой в Петербурге и слушала лекции на естественном отделении Бестужевских курсов. Она была близка с О. Н. Фигнер и была большой приятельницей Л. В. Неустроевой, жены казненного в Иркутске учителя гимназии Неустроева. Лидия Васильевна была дочерью богатого иркутского купца Лаврентьева. Она стремилась на курсы, но отец не пускал ее. Тогда состоялся фиктивный брак, и Лидия Васильевна уехала в Петербург, кажется, за несколько месяцев до ареста мужа. Вера Алексеевна каждый год уезжала на каникулы домой и обыкновенно брала в Сибирь и привозила из Сибири от ссыльных ряд поручений. С ней отправляли и деньги. Дорогой она знакомилась с партиями,— так она познакомилась и с И. С. Джабадари, посылала ему посылки, а потом, когда он вышел с каторги, переписывалась с ним. Она была приятельницей А. Н. Шипицына, А. В. Пихтина, С. И. Чекулаева; хорошо была знакома с П. Ф. Якубовичем, С. Ч. Куницким, А. Я. Ауслендером.

Весной 1883 года наша группа влилась в партию „Народная Воля“ и фактически стала „Рабочей группой партии „Народная Воля“, приняв в свои организации рабочие кружки, имевшиеся у партии. Наш центральный кружок стал центральным кружком „Рабочей группы партии „Народная Воля“; Флеров и Бодаев продолжали заниматься исключительно делами группы, но мне и Олесинову приходилось исполнять и другие поручения. Время было тяжелое. Дегаевщина, о которой мы не знали, действовала во-всю. Мы чувствовали, что в верхах организации не все благополучно, что кто-то выдает. Это создавало отвратительное настроение и поселяло недоверие к людям, с которыми мы не были связаны узами давнишней дружбы или длительной работой. Провал в Харькове в феврале 1883 г. В. Н. Фигнер, а позднее аресты среди военных и моряков поразили нас: мы знали, что В. Н. Фигнер находилась в бе-

зопасности. В конце 1882 г. в Петербург по ее поручению приезжал Комарницкий и передал нам ее директивы и наказы. Комарницкий подтвердил, что Фигнер вне опасности и ни в коем случае не может провалиться. Мы радовались и за нее и за партию, вождем которой была Вера Николаевна. Тем ужаснее было для нас известие об ее аресте.

Пошли слухи, обратившиеся в уверенность, что В. Н. Фигнер случайно встретилась на улице с рабочим Меркуловым, которого переодетые жандармы водили по улицам с целью встретиться с Фигнер. Он ее и предал.

— Уж больно все это просто; я убежден, что Меркулов подставное лицо, а за его спиной стоит кто-то несравненно более важный, чем это ничтожество.

Так рассуждал Н. М. Флеров, когда ему рассказывали подробности ареста В. Н. Фигнер, так в глубине наших мыслей думали и мы, когда вокруг нас выхватывались испытанные борцы, новые жертвы, погибла военная организация. Но мы боялись высказывать свои мысли вслух. К каждому новому лицу, появившемуся среди нас, мы относились с щепетильной осторожностью, граничащей с недоверием, а к приезжим так прямо-таки недоверчиво. Исключение представлял Петр Алексеевич (Дегаев), появившийся в Петербурге весной 1883 года.

Приезжает из Варшавы штабс-капитан К. А. Степурин, во всех отношениях прекрасный человек и убежденный, с большим стажем революционер. Но мы его не знаем. Его явки и рекомендательные письма нам кажутся недостаточно авторитетными. Он видит и чувствует, что мы не верим ему, мы его испытуем, сомневаемся в его порядочности. Все это продолжалось короткое время. Степурин занял соответствующее ему место в партии: он был правой рукою Г. А. Лопатина, был назначен в центральную группу, которая заменила Исполнительный Комитет. Но то недоверие, с которым его вначале встретили в Петербурге, заложило в нем начало того психоза, который в 1885 г. привел его к трагическому концу: в Доме предварительного заключения ножом, сделанным из



Иван Иванович
Попов



Вера Алексеевна
Попова

сардиночной коробки, он перерезал вены на руке, опасаясь, что во время сна в бреду может проговориться.

Атмосфера в революционных кругах сгущалась: аресты, начавшиеся в начале 1883 г., после „бегства“ из Одесской тюрьмы Дегаева, к лету участились. После ареста В. Н. Фигнер прекратились и сенсационные слухи, циркулировавшие в обществе. В обществе тогда много говорили о том, что правительство капитулирует и через своих агентов ведет переговоры с Исполнительным Комитетом о том, чтобы террор был прекращен, а за это правительство обещает революционерам амнистию, а стране реформы. Возвращение из ссылки из Вилюйска в Астрахань Н. Г. Чернышевского рассматривалось, как первый шаг правительства в направлении уступок требованиям общества. Коронация откладывалась, и царь уже два года сидел на престоле некоронованным и заперся, окруженный явной и тайной полицией, в Гатчине. По этому поводу много острили, Александра III называли „гатчинским пленником“. Иностранные юмористические журналы были полны карикатурами. Помню содержание одного рассказа в картинах— „Бал на небе“, кажется „Kladderádatsch“. На бал были приглашены все коронованные особы. Шах персидский и турецкий султан, как несомненные автократы, были пропущены беспрепятственно; Вильгельм I представил удостоверение личности от Бисмарка, Виктория от парламента и т. д. Окруженный казаками, тайной и явной полицией, с большой свитой приезжает Александр III; но в списках коронованных особ на небе его нет, и в России императора, после Александра II, не значится. Александр III настаивает; тогда его спрашивают, где он живет.—В Гатчине!— Такой столицы в России нет, а есть Москва и Петербург.— Так Александр III на бал и не попал. Кажется, к этому времени относится и нелегальная юмористическая поэма „Как царь Ахреан ходил богу молиться“, которую приписывали перу Якубовича, но он от авторства отказывался.

Наконец коронация была назначена. В обществе говорили, что революционеры пробрались в Кремль, в Успенский собор, где работают среди подрядчиков и готовят

покушение. Был принят целый ряд невероятных предосторожностей, вызванных страхом перед революционерами. Между тем революционеры с трудом могли издать к коронации прокламацию.

Не откликнуться на это событие значило бы для партии расписаться в полном бессилии, особенно после двух лет реакционной политики нового царя. Собственной типографии не было. Правда, у Кукушкина моста, в Столярном переулке, М. П. Шебалин ставил типографию. Но она еще была, что называется, „ни у шубы—рукав“: пока что была нанята квартира, куда переехал Шебалин, только что обвенчанный с П. В. Богораз. Но там еще не было ни шрифта, ни станка, ни других приспособлений. Наборщик Никвист пытался напечатать прокламацию в академической типографии на 8-й линии. Но здесь сорвалось, и Никвисту пришлось сделаться нелегальным. Шрифт, станок и пр. были у партии; кое-что имелось и у нашей группы. Но не было квартиры, даже для нелегальных. Андржикович не раз ночевал у меня.

П. Ф. Якубович берег Шебалиных для постоянной типографии и об их квартире молчал. Андржикович и Паули искали способов отпечатать прокламацию. Правда, иногда возможно было печатать на квартире писателя М. А. Протопопова (Горшкова), при чем набор делался на других квартирах; но на этот раз и квартира Протопопова оказалась почему-то неудобной.

Начало мая... Приехал С. А. Иванов. Сильно заикаясь от волнения, он указывал, что „честь партии требует, чтобы „Народная Воля“ отозвалась на коронацию“...

Выручил Андржикович. Он обошел Петербург в поисках комнаты, которая должна быть абсолютно изолирована, а хозяйка квартиры должна быть „беспросветно глупа“. Изолированная комната с „беспросветно глупой хозяйкой“ нашлась. „Имущество“ нового жильца было перевезено на извозчике в чемодане. Подушкой и одеялом решено было пожертвовать. Устроили „новоселье“, на которое пришли Никвист и Паули. В результате „новоселья“, была напечатана прокламация, и „честь“ партии была спасена.

Еще ранее, в марте, в типографии Чекулаева и Пихтина отпечатали и частью отгектографировали по поводу коронации „Обращение к обществу“, в котором мы разъясняли, что обещал и что дал Александр III. Под обращением стояла подпись „Вольная гектография“. Это был единственный случай, когда я нарушил партийную дисциплину. Но два года царствования Александра III с их казнями, арестами, репрессиями, преследованиями печати и вообще реакцией нужно было осветить для широкой публики и рабочих. Обращение понравилось, а С. А. Иванов и В. А. Караулов говорили мне:

— Иван Иванович! „Обращение к обществу“—это дело ваших рук?!

С лета 1883 г. начала работать типография Шебалина, с которой имели сношение Петр Алексеевич (Дегаев) и Якубович. Последнего я познакомил с М. П. Кулябкой, поселившейся у Шебалиных в качестве прислуги. Я догадывался о существовании этой типографии, но адреса ее не знал; догадывался о ней потому, что № 1 „Листка „Народной Воли“, „Прибавление“ к нему, „Ссылка и каторга“, „От мертвых к живым“ и еще кое-что было напечатано летом 1883 года, при чем посредником служил Дегаев. Позднее, когда открылось провокаторство Дегаева, в широких революционных кругах и в обществе, где не знали о типографии Шебалина, серьезно утверждали, что и „Листок“, и все остальное было напечатано в типографии охранного отделения. В сентябре, когда печаталась прокламация „И. С. Тургенев“, я уже знал о типографии Шебалиных и сносился с М. П. Кулябкой.

Якубович „на случай“ осведомил меня о типографии Шебалиных. Но мне не пришлось с ней иметь дела, потому что по возвращении Дегаева из-за границы поздней осенью 1883 года Шебалины уехали из Петербурга, и типография закрылась.

Летом 1883 года провалы стали как будто реже. Но атмосфера недоверия в революционных кругах Петербурга не разрядилась. Петр Алексеевич играл в организации первенствующую роль. Все мы жили в ожидании ареста.

В августе стали съезжаться уехавшие из Петербурга. И из Москвы, и с юга, и юго-востока привезли невеселые известия о подробностях арестов людей, которые ни в коем случае не могли быть арестованы. На этот раз даже П. Ф. Якубович начал склоняться к тому, что в организации есть „осведомитель“. Слово „провокатор“ еще не было произнесено, хотя пролетариатец, кажется Плосский, и говорил о возможности провокации.

Настроение было невеселое. В конце августа наше внимание было несколько отвлечено от „проклятого вопроса“, придавившего нас. Умер И. С. Тургенев, и целый месяц мы жили Тургеневым.

К началу 1883 г. относится первое мое выступление в легальной печати. В один день застрелился мой приятель, студент Лесного Института Моисеев, и отравилась слушательница Рождественских фельдшерских курсов Баженко. Оба бедствовали и голодали. Обоих, кажется, исключили из учебных заведений за невзнос платы; обоих их я видел тотчас же после смерти, а с Баженко даже отваживался. Я знал тяжелое материальное положение многих учащихся, но эти два факта произвели на меня сильное впечатление, и я написал статью „Студенческий пролетариат“, подписавшись, кажется, „Иванович“. Снес в „Голос“, и через некоторое время статья была напечатана. Это была единственная моя статья, напечатанная в легальной прессе до моей ссылки. Уже в Сибири я стал заниматься литературным трудом, как профессией.

При напечатании первой своей статьи я получил урок литературной этики. Препроводительное письмо подписал я также „И. Иванович“ и дал какой-то адрес. Все это сделал по застенчивости. Но когда после напечатания фельетона пришел в редакцию и сказал, что я Попов, а не Иванович, то В. А. Бильбасов прочел мне нотацию:

— Нехорошо! Вы могли поставить редакцию в затруднительное положение. Да и вообще к печатному слову нужно подходить с чистой душой и открытым сердцем.

Я, конечно, был сконфужен...

XIV

Похороны И. С. Тургенева и „Народная Воля“

Охлаждение к Тургеневу со стороны молодежи, которое отмечалось в конце 70-х годов и особенно с выходом его „Нови“, после приезда Тургенева в Россию на пушкинские торжества, общения с учащейся молодежью и с молодыми литераторами сменилось теплым чувством. „Стихотворения в прозе“, особенно „Порог“, окончательно растопили холодок молодежи по отношению к И. С. Тургеневу. Мы считали его либералом и западником, который не может не быть оппозиционно настроен к русскому правительству. Мы знали, что и оно недолюбливало писателя... И вот, когда Тургенев заболел, то молодежь, как и все русское общество, с тревогой следила за его болезнью.

Болезнь Тургенева совпала с каникулярным временем, когда многие уехали из Петербурга, а мы, оставшиеся, были завалены работой и переживали тяжелый момент неожиданных провалов. Несмотря на все это, болезнь эта не выходила из поля нашего зрения. При встречах с П. Ф. Якубовичем, который был большим почитателем писателя, мы обменивались впечатлениями от газетных известий о ходе болезни, и он как-то сказал:

— Боюсь, что лишимся великого художника слова, которому после Пушкина нет равного в русской литературе. А какой удивительный стилист: язык тургеневский— это музыка. Я вновь перечитываю Тургенева и наслаждаюсь.

Встречались мы с Якубовичем в это время или у его брата, доцента Медико-Хирургической Академии, талантливого детского врача, имевшего обширные научные труды и читавшего лекции, или у его невесты, Р. Ф. Франк. Петр Филиппович читал нам Тургенева, особенно его „Стихотворения в прозе". В манере чтения у него, как поэта, отсутствовала простота, хотя его чтение многим нравилось.

В нашей группе мы обсудили и приняли чье-то предложение постараться на собраниях рабочих выяснить значение Тургенева для народа и освободительного движения. Это задание было передано в кружки, которые занимались с рабочими. Когда Тургенев умер, мы устроили у рабочих поминки по нем, на которых выступали и мы, члены Центрального кружка, и даже Якубович, никогда ранее не выступавший перед рабочими. Александр Иванович (псевдоним Якубовича) говорил просто, с большим чувством и производил большое впечатление на рабочих. Он читал и некоторые главы из „Записок охотника", „Стихотворения в прозе" и др. Манера его чтения нравилась рабочим. По полицейским условиям эти собрания рабочих не могли быть многолюдными, а потому происходили довольно часто и затянулись почти до похорон, на которые пришли многие рабочие, чтобы проводить И. С. Тургенева.

Одним студенческим кружком, занимавшимся с рабочими, был поднят вопрос о возложении венка на гроб писателя от „Рабочей группы". Кружок проектировал терновый венок, в центре которого из красных цветов должна была быть надпись: „От мертвых—Бессмертному", а на лентах: „Тургеневу—„Рабочая группа партии „Н. В.". Но мы отклонили это предложение, потому что оно исходило не от рабочих, а надпись: „От мертвых—Бессмертному" признали претенциозной и совершенно неподходящей для революционно настроенных рабочих. По нашему мнению, Тургенев был настолько велик, что не нуждался в искусственном проявлении горя по поводу его кончины. Это профанировало бы его память.

Тургенев умер 22 августа. Разрешение привезти его тело из Парижа и похоронить в Петербурге русскими властями было дано в половине сентября; похороны состоялись только 27 сентября.

Таким образом, между кончиной и днем похорон прошло больше месяца—время, достаточное для того, чтобы на похоронах было возможно устроить внушительную демонстрацию. Об этом мечтала вся либеральная печать; этого боялись правительство и „Московские Ведомости". Мы, революционеры, были далеки от мысли устраивать на похоронах Тургенева политическую демонстрацию и даже, как я уже говорил, отвергли предложение о возложении венка от рабочих. Но обойти молчанием кончину великого писателя и мы не считали возможным. Идея выпустить к похоронам „Обращение к обществу" по поводу кончины Тургенева принадлежит Якубовичу.

Первая редакция этого обращения, составленная Якубовичем, была чужда всякой полемики. Но пока везли тело в Россию, у гроба писателя развернулась ненужная и обидная для памяти его полемика, поднятая „Московскими Ведомостями". Катков перепечатал из парижской газеты письмо Тургенева к П. Л. Лаврову и из письма сделал вывод, что Тургенев сочувствовал и помогал революционерам. М. М. Стасюлевич, Я. П. Полонский и либеральная печать заподозрили подлинность этого письма и обвиняли Лаврова чуть ли не в подлоге.

Мы, революционеры, ни на минуту не сомневались в подлинности письма Тургенева к Лаврову и в честности последнего. Отношение либеральной печати глубоко нас возмутило.

Группа студентов с А. Н. Шипицыным, презрительно говорившим о „либералишках", послала письмо в „Вестник Европы" и в „Новости". Но оно не было напечатано. П. Ф. Якубович был глубоко возмущен и ходил в „Вестник Европы" объясняться, а потом говорил нам:

— Нет, с ними ничего не сделаешь. Вот выясним и тогда напишем опровержение, если цензура пропустит.

Цензура, конечно, не пропустит, и ложь может остаться неопровергнутой. Наше обращение к обществу нужно переделать: нельзя обойти молчанием всю эту „свистопляску“ у гроба Тургенева.

Так волновался Якубович. Обращение было переделано; в него было внесено не мало полемики, и оно, по моему мнению, много проиграло сравнительно с первой редакцией.

К прокламации „И. С. Тургенев“ было приложено стихотворение в прозе „Порог“. То и другое было напечатано в типографии Шебалина безукоризненно, на одном листе хорошей бумаги.

В связи со всей этой, по выражению Якубовича, „свистоплясской“, возложение венка от рабочих явилось бы большой ошибкой и дало бы повод к новым нападкам и инсинуациям со стороны охранительной печати. В самой партии „Народная Воля“ было решено не делать, кроме прокламации, никаких выступлений.

— Тургенев велик и не нуждается в искусственном создании выражения горя по поводу его кончины. Не будем делить его и решать вопрос—наш он или не наш. Предоставим либералам это, а мы, революционеры, докажем, что мы умеем ценить великих писателей, хотя бы они были не наши.

Так резюмировал П. Ф. Якубович наши разговоры о необходимости нашего участия в похоронах.

Похороны были грандиозны. Таких похорон я не видел ни до, ни после Тургенева. Я не участвовал в похоронах С. Н. Трубецкого и Баумана. Только похороны С. А. Муромцева в 1910 г. превзошли не только похороны Тургенева, как говорил мне М. М. Ковалевский, но и похороны замечательных людей в Западной Европе.

Похороны Тургенева я описывать не буду. О них не раз писали; описывал и я их в „Русских Ведомостях“ в день 25-летия кончины писателя. Но не могу умолчать об одной подробности. Правительство с тревогой ожидало этих похорон и принимало всевозможные „предупреждающие“ меры, запрещало газетам сообщать какие-либо

сведения, кроме официальных, везло тело, можно сказать, украдкой. В день похорон всюду на пути похоронной процессии по дворам были спрятаны казаки, жандармы, наряды полиции. Процессия была почти оцеплена жандармами и казаками. Градоначальник Грессер верхом на лошади не раз проезжал мимо процессии, а когда процессия сворачивала с Загородного проспекта на Звенигородскую улицу, то он пропустил ее мимо себя и держал себя вызывающе, чем не мало возмущал провожающих, особенно молодежь. На кладбище, кроме делегаций, и то не всех, никого не пропускали: с раннего утра Волково кладбище было оцеплено.

Мы, имеющие отношение к революции, были на похоронах, и наша роль ограничилась тем, чтобы не допустить никаких революционных выступлений.

Во время похорон было несколько случайных арестов, не давших результатов: искали прокламацию „И. С. Тургенев“, которая была выпущена в день похорон и распространялась во время шествия процессии.

„Обращение к обществу“ по поводу кончины И. С. Тургенева и стихотворение „Порог“ размножались Пихтиным и Чекулаевым и на гектографе. В декабре они гектографировали предсмертное письмо К. Г. Неустроева и его биографию. Неустроев, сын якутки, учитель гимназии, был арестован в Иркутске за пропаганду среди гимназистов. 26 октября 1883 г. к нему в камеру явился генерал-губернатор Анучин, сильно выпивший на именинном обеде у городского головы, и стал стыдить и грозить Неустроеву. Тот не выдержал и дал ему пощечину. Неустроева судили военно-полевым судом, приговорили к смертной казни и 9 ноября расстреляли. Вся эта трагедия вызвала сильное возмущение в Иркутске. Доктор Л. С. Зисман прислал нам биографию Неустроева и письмо, написанное им перед казнью. Оба эти документа были потом напечатаны в № 10 „Народной Воли“.

XV

Ликвидация дегаевщины. Убийство Судейкина. Запоздалое раскрытие провокации Дегаева и результаты этого запоздания. „Молодая Партия Народной Воли“

Похороны Тургенева несколько приподняли наше настроение, но не разрядили гнетущую атмосферу, в которой мы жили с весны. Аресты стали реже, отчасти потому, что весенние провалы целых организаций разгромили партию. В сентябре с петербургского горизонта исчез Дегаев. Потом стало известно, что он ездил за границу с покаянием и должен был выполнить ультиматум—помочь убить Судейкина.

Значительно позднее Г. А. Лопатин говорил, что Дегаев покаялся Тихомирову и Ошаниной еще в мае и тогда же принял обязательство убить Судейкина, под угрозой—иначе сам будет убит. Затем он стал затягивать исполнение этого обещания; тогда из Парижа пригрозили ему, что огласят об его предательстве. Дегаев поторопился в Париж и вскоре же вернулся в Петербург. Вслед за ним прибыл в Петербург ничего не знавший о предательстве Дегаева Лопатин. После нескольких свиданий Лопатин, что называется, раскусил Дегаева, и последний во всем сознался ему. Лопатин, не принимая участия в убийстве Судейкина, только наблюдал, чтобы Дегаев выполнил взятое обязательство. Я ни от кого, кроме Лопатина, не слыхал, чтобы Дегаев в мае ездил в Париж; мне кажется, что в мае и позднее, летом, Дегаев был в Петербурге, а вот в сентябре или даже в конце августа

он действительно исчезал с петербургского горизонта и вновь появился уже после похорон Тургенева. Ему было вменено в обязанность не изменять образа жизни; но Дегаев стал реже появляться на свиданиях, и я его видел раза три-четыре в октябре и ноябре. Эти свидания были мимолетны: раз я уходил с совещания с Якубовичем и Степуриным, а он пришел. Кажется, мы не сказали друг другу ни слова, поздоровались и разошлись; так же кратковременны были и другие свидания.

Осенью аресты стали реже, но убеждение, что Судейкин является одним из виновников разгрома партии, крепло. Мы догадывались, что Судейкин культивирует провокацию, и знали несколько примеров, когда он, путем застращиваний, путанных допросов и т. п. приемов, старался уловить молодых и неопытных людей. Предложения со стороны жандармов—„оставаться в партии и осведомлять нас, и вы будете свободны"—делались без всякого стеснения, с прибавлением: „об этом никто не будет знать". Явилось сознание необходимости во что бы то ни стало удалить Судейкина, так как он автор провокационной системы, которую его агенты стремились внести в революционные организации.

В то же время появились и „добровольческие шпионские организации". Уже более года действовало тайное общество великосветских шпионов „Священная Дружба", возглавляемое П. Шуваловым и самим великим князем Владимиром. Говорили и о другом обществе, „Добровольной Охране", которое задалось целью искоренить революцию и вербует членов из всех слоев общества, начиная с дворников. Говорили, что эта „Охрана" в Москве во время коронации затерла явную и тайную полицию, чем вызвала неудовольствие в Департаменте полиции. Ясно, какая гнетущая атмосфера царила среди нас, окруженных официальными и неофициальными шпионами и провокаторами. Осенью 1883 г. сношения с заграницей стали неаккуратными и затруднительными. Сношения эти шли теперь больше через „Пролетариат", но у петербургских представителей его также не было хороших связей. Они

ждали с нетерпением возвращения Ст. Куницкого, командированного за границу в конце лета, и возлагали большие надежды на его миссию. Ждали и мы его. А. Н. Дембский перешел на нелегальное положение и вскоре уехал в Варшаву. Перед отъездом он мне передавал, что из Варшавы ему пишут, что адреса и явки в Польше и из-за границы не вызывают арестов адресатов, а стоит только дать адрес на Варшаву из России, как адресат арестовывается... „У вас в Питере—несомненно провокатор. В Варшаве встречусь с Куницким, быть может он за границей узнал кое-что“—так говорил Дембский. Рехневский, занятый подготовкой к выпускным экзаменам в Университете, соглашался с Дембским и также возлагал надежды на Куницкого, что тот разъяснит темное дело.

Мы чувствовали справедливость их подозрений, но также ничего не знали о предателе. Уже с лета в петербургской организации, особенно в нашей рабочей группе, начало выявляться недовольство заграничными „диктаторами“, как М. П. Овчинников назвал Л. А. Тихомирова и М. Н. Ошанину.

— Пропадем мы с этим заграничным центром. Пора создать что-нибудь в России и заменить заграничников. Да и вообще меньше централизма—это лучше. Необходимо ближе стать к рабочим и мужику, а не заниматься разговорами...—так иногда прорывался и Н. М. Флеров.

В нашей группе не раз приходилось слышать и такие соображения:

— Важнее убить губернатора Гессе, усмирившего чигиринский бунт, и убить его после расправы с крестьянами, чем убить хотя бы Судейкина, которого не знает ни крестьянин, ни рядовой рабочий. Часто убийство станового, издевавшегося над крестьянами, или фабриканта, призвавшего казаков для усмирения забастовавших рабочих, имеет большее значение, чем убийство Мезенцева или губернатора.

Еще до появления „Молодой Партии Народной Воли“ в нашей группе бродила и даже оформилась идея аграрного и фабричного террора. Против этой идеи как будто

бы у нас никто решительно не возражал. Якубович также задумывался, когда я говорил ему о наших беседах. Правда, некоторые опасались, как бы такие акты не перешли в самосуд. Н. М. Флеров постоянно указывал нам, чтобы организация не увлекалась централизацией, и доказывал необходимость демократизации даже интеллигентских кружков. Он любил помечтать о том времени, когда рабочий и крестьянин будут играть первенствующую роль в революционных организациях. Но это должен быть и сознательный, и критически мыслящий человек, разбирающийся в авторитетах, а не подчиняющийся им.

С осени аресты стали реже и даже как будто бы прекратились, но мысль о провокаторстве не была изжита.

Кто провокатор? Этот вопрос стоял перед нами. В такое время, конечно, невозможно было думать о пересмотре программы. Таким образом, наши беседы имели академический характер.

Куницкий наконец приехал... Я не узнал „Стасика", веселого, беззаботного, несколько жуира, никогда не унывающего и верящего в свою счастливую звезду. Он был даже мрачен. В его словах о заграничном центре звучала какая-то неприязнь. Мы чувствовали, что он о чем-то умалчивает, что-то угнетает его. А если у „Стася"— мрачные мысли, если в его словах нет прежней твердости и беззаботности, то значит, он знает что-то значительное, важное, но что—нам сказать не может. Я знал, что у Куницкого была продолжительная беседа с Якубовичем, и последний стал задумчивым, я бы сказал—рассеянным. Его также что-то угнетало. Изменился и Ф. Ю. Рехневский, самый близкий для Куницкого человек. Н. М. Флеров теперь часто встречался с Якубовичем, и он сказал мне, что у нашего Александра Ивановича что-то на уме. Я как-то спросил Якубовича, что случилось.

— Подождите, пока ничего не могу сказать!

Из намеков, отдельных фраз, бросаемых Куницким и Якубовичем, для нас было ясно, что в партии не все благополучно, а в октябре на этот счет у нас уже не было

сомнений. Куницкий прямо мне сказал, чтобы никто из нашей группы не шел на съезд народовольцев, который созывается в ноябре.

— Это будет лучше для вашей группы: об ней еще, повидимому, не знают.

Понятно, все это интриговало меня, но я, согласно революционной дисциплине, не настаивал и не расспрашивал ни Куницкого, ни Якубовича.

Приехал Г. А. Лопатин. Я знал, что идут совещания и обсуждаются какие-то вопросы. Лопатин виделся с очень немногими.

В конце ноября я зашел к Рехневскому. Благодаря экзаменам мы редко видели его. У него остался один экзамен, который он должен был сдать в декабре.

— Не могу заниматься... Да и как заниматься, когда я убежден, что я уже предан, и мне необходимо переходить на нелегальное положение...

Я стал успокаивать его.

— Мне кажется,—заметил я,—что ни вам, ни Стасику опасность не грозит. Если бы вы были преданы, то вас обоих давно бы арестовали: ваша деятельность для правительства вредна, и на разводку оставлять вас невыгодно.

— Да и я так думаю, но заниматься не могу: в голову ничего не лезет. Необходимо съездить в Варшаву и успокоить тамошнюю публику. Запрашивают, почему почти все адреса и явки, даваемые в Россию, ведут к арестам адресатов. Ничего подобного не замечалось, когда эти адреса и явки посылались в Польшу или за границу. Нужно сказать им, что теперь это больше не повторится; провокатор открыт, а воодушевлявший его будет уничтожен.

— А успеете вернуться к сдаче экзамена?—спросил я.

— Должен успеть, в моем распоряжении две недели. Выписываться не стану. Поездка покажет, следят за мной или нет. Если следят, то мое отсутствие произведет переполох.

Рехневский уехал и благополучно вернулся еще до убийства Судейкина. За ним, повидимому, не следили.

В ноябре я был приглашен Якубовичем на свидание в квартиру С. А. Венгерова, жившего тогда где-то недалеко, в районе Лиговки, кажется в Троицком пер. С ним я уже был знаком. За чаем, кроме Якубовича и Куницкого, я встретил еще двух мне не знакомых людей. Впоследствии я узнал, что это были Стародворский и Конашевич. Венгеров вышел, и мы остались вчетвером и вели разговор по поводу ликвидированной типографии в Столярном переулке. Здесь я впервые узнал, что Шебалины уехали или уезжают. Я спросил о Кулябко, и мне сказали, что ее также придется отправить, „но пока она нужна". „Вообще лучше будет, если мы разгрузим Петербург". Я не спросил—почему „будет лучше". Затем обсуждали вопрос—возможно ли будет, если понадобится, отпечатать небольшую прокламацию. Я сказал:

— Думаю, что возможно.

— Нужно всем позаботиться об этом. Печатать, вероятно, потребуется очень спешно,—сказал Якубович и тут же прибавил:—Это будет краткое сообщение.

Я ушел первым и на лестнице встретился с С. Росси, который шел в квартиру Венгерова.

Через несколько дней у меня было свидание с Куницким. Мы долго беседовали, и, между прочим, я спросил его:

— А что Петр Алексеевич? Я его уже давно не видел...

— И отлично, что ты его не видел,—загадочно произнес Станислав.

Я посмотрел с недоумением на него.

— Скоро все разъяснится... многое бы я мог тебе рассказать, но пока не могу...

Я не стал расспрашивать его; но чисто интуитивным путем для меня стало ясно, что былые, относительно недавние, провалы связаны с Дегаевым, и я сказал Куницкому:

— Стась, знаешь, ты наводишь меня на страшное подозрение относительно Петра Алексеевича.

— Я ничего не могу сказать тебе и прошу тебя, что бы ни случилось, до официального сообщения не высказывать никаких предположений,—ответил Куницкий.

Тогда мне все стало ясно, и я тут же сказал Куницкому, что исполню его просьбу. Вскоре у нас на квартире А. Е. Шестаковой состоялось новое совещание, на котором мы установили, где, если понадобится, меня могут найти Якубович, Куницкий или Росси. Выяснилось, что краткую прокламацию можем отпечатать все мы—Росси, Якубович и я.

Уже в начале декабря мы собрались, кажется у ветеринарного врача Карцева, служившего на городских бойнях.

— Не можете ли вы, Иван Иванович, если понадобится, на несколько дней, может быть на неделю, съездить, например, в Польшу?—спросил меня, кажется, Росси.

— Да, если это будет на рождестве. В другое время это для меня почти невозможно, так как не могу бросить занятия в училище. Нужно брать отпуск.

— Нет, это неудобно... Да мы устроимся. Могу поехать и я,—заметил Куницкий.—Не стоит вмешивать Ивана Ивановича. Завтра приезжает Фадей (Рехневский). Вот его придется просить кое-куда съездить, так как на Вильно и Варшаву ехать, оказывается, опасно. Нужно попробовать на Либаву, а здесь Фадей нам поможет скорее, чем кто-нибудь другой.

Рехневский приехал, сдал великолепно и последний экзамен, а затем отправился в Либаву устроить переправу Дегаева на иностранный пароход, на котором тот должен был уехать за границу. В Либаве Рехневский жил и учился, так что этот город был ему знаком, и у него там были связи. Все было устроено как нельзя лучше; Фадей говорил, что если Петр Алексеевич благополучно доберется до Либавы, то там он будет в безопасности.

Якубович и Куницкий перед убийством Судейкина были чрезвычайно озабочены. Рехневский также волновался и много хлопотал о документах в Университете; он смеясь говорил: „Я теперь кандидат прав и кандидат на лишение всяких прав и преимуществ“. Конашевича и Стародворского я уже не видел: они сидели в квартире Дегаева и ожидали Судейкина. Я уже не сомневался в том, что Судейкин будет ликвидирован, и в этой ликвидации Дегаев



Сергей Иванович Чекулаев | *Александр Николаевич Шипицын* | *Алексей Васильевич Пихтин*

должен играть активную роль; этим актом он хотя бы отчасти искупит свое предательство.

До 16 декабря я видел Якубовича еще раза два. Он был сильно озабочен.

Наступило 16 декабря... К вечеру по Петербургу распространился слух, который передавался с каким-то, я сказал бы, радостным чувством, о том, что Судейкин и сопровождавший его жандармский офицер, кажется зять или родственник Судейкина, казначей охранки Судковский, были убиты. Такое сообщение циркулировало по Петербургу в первые дни, и, кажется, так было сообщено в газетах. Но убит был один Судейкин, а Судковский был тяжело ранен.

К вечеру я зашел к Руне Кранцфельд, но она дальше передней меня не пустила. У нее уже был Дегаев, или она ожидала его, так как после убийства он должен был притти к ней. Уже потом, вероятно в марте, Якубович говорил мне, что Дегаев прибежал на квартиру к Р. Кранцфельд совершенно растерявшийся,—„был сам не свой“,—переоделся и уехал на вокзал, где ждал его Куницкий. Остальные участники убийства—Конашевич и Стародворский, как говорили про них, „держали себя молодцами“.

В тот же вечер Росси и Стародворский напечатали краткую прокламацию по поводу убийства Судейкина на частной квартире. Набор делала Кулябко. Наутро этот набор был передан мне, и я с Росси допечатывал прокламацию уже на другой квартире. Во время печатанья Росси передал мне поклон от Куницкого.

— Уехал с Петром Алексеевичем?—невольно вырвалось у меня.

Росси утвердительно кивнул головой.

Вскоре Якубович, при условии полного молчания, ознакомил меня с предательством Дегаева. Убийство Судейкина в правительственных сферах произвело потрясающее впечатление. Плеве говорил министру или даже выше: „Никто из нас не может ручаться за то, что он завтра не будет там, где подполковник“.

Первое время не только в широкой публике, но даже в революционной среде не знали, что Судейкин убит на квартире Дегаева. Последний жил под фамилией Яблоновского на Тележной улице. И только когда на улицах появилось правительственное сообщение с шестью портретами Дегаева и с приглашением за денежную награду, 10 тыс. р., выдать его и других убивших Судейкина, для революционеров и общества стало ясно, что Дегаев убил Судейкина. По поводу этого сообщения была напечатана новая прокламация с угрозой смерти предателю. В некоторых местах эту прокламацию удалось наклеить на правительственном сообщении. На гроб Судейкина от царицы был возложен венок, но похороны сошли без помпы. Во время похорон на улице был арестован Степан Росси. Конашевич и Стародворский, активные участники убийства Судейкина, уехали из Петербурга; в начале 1884 г. Конашевич был арестован в Киеве; около того же времени арестовали и Стародворского. Куницкий сопровождал Дегаева до Либавы, где передал его в руки тех, кто переправил Дегаева на пароход. В Петербурге Куницкий пробыл недолго и вскоре уехал в Варшаву, где был арестован, судился по делу „Пролетариата“ и был казнен.

После убийства Судейкина в Петербурге пошли обыски. Кое-кто уехал; уехали пролетариатцы, и между ними Рехневский. Караулов уехал за границу еще до убийства Судейкина, и о том, что оно подготовляется, он не знал. Якубович не только не уехал, но даже не перешел на нелегальное положение. Он мне сообщил, что Дегаев уже в безопасности. В нашей (Флерова и Бодаева) группе не было ни арестов, ни обысков.

Г. А. Лопатин уехал за границу, откуда вернулся в марте 1884 года, когда я уже был арестован.

На рождестве в Петербурге мы получили № 1 „Вестника Народной Воли“. Появление народовольческого журнала, серьезного и довольно толстого, порадовало не только нас, но и либеральные круги общества. В журнале мы искали хотя бы косвенных указаний на провалы, но не нашли. Хроника революционной жизни России нас не удов-

летворила: она доказывала оторванность заграничного центра от русской революции и России.

После убийства Судейкина петербургскую организацию возглавлял К. А. Степурин, который считался представителем Исполнительного Комитета; но он не считал себя вправе без разрешения Тихомирова и Ошаниной раскрыть провокаторство Дегаева.

Нужно удивляться тому, что после убийства Судейкина, особенно после правительственного сообщения с портретами Дегаева, не возникло в революционных кружках если не уверенности в его провокаторстве, то сомнения в его честности. Правда, Н. М. Флеров в обстановке убийства Судейкина находил много странного и подозрительного. Свое сомнение он высказывал Якубовичу, но тот, как и я, молчал, и оба мы чувствовали себя по отношению к нашему другу неловко. Остальные же, которые так еще недавно брали под подозрение вполне надежных людей, не делали никаких заключений и выводов. Правда, разговоры о предательстве подымались почти при каждом новом аресте, но имя Дегаева до января 1884 г. в этих разговорах не упоминалось. Степурин с Якубовичем не говорили о Дегаеве и вообще старались избегать разговоров о нем. Молчал и я, официально не введенный во все обстоятельства этого дела. Г. А. Лопатин, уезжая за границу, не оставил директив, да и дать их не мог: он не входил официально в партию. Тихомиров и Ошанина не говорили ему о предательстве Дегаева. Дегаев, как я уже говорил, сам ему сознался в Петербурге, и Лопатин только наблюдал, чтобы Дегаев выполнил обещание, данное Исполнительному Комитету. Извещение Исполнительного Комитета, хотя и было написано и датировано декабрем, в печати появилось значительно позже: оно было напечатано в № 10 „Народной Воли“ в сентябре. В рукописи же или гектографированном виде это сообщение в Петербурге появилось только в феврале, когда все обстоятельства дела были уже известны публике. В этом крупная ошибка Исполнительного Комитета. Нужно было предоставить местной организации право сделать разъяснение тотчас же

после убийства Судейкина. Своевременное опубликование всех обстоятельств дела исключило бы возможность тех нареканий, какие посыпались на центр, когда о Дегаеве стало известно помимо Исполнительного Комитета.

Новый год встретил у А. Е. Шестаковой. Были В. А. Лушникова, уже тогда моя невеста, А. Н. Шипицын, А. В. Пихтин, С. И. Чекулаев и др., преимущественно сибиряки. На сердце у меня было невесело. Мы, Степурин, Якубович и я, не знали, кто еще предан Дегаевым. Шипицын жаловался, что у „Синего Креста" мало средств.

— Нужны деньги, одежда, белье. Кто знает, может быть, после нового года пойдут аресты!..

— Ну вас, бросьте хоть на новый год каркать,—остановила его наша милая хозяйка Александра Егоровна.

В ночь на 2 января были арестованы С. Е. Усова, игравшая видную роль в петербургской организации и пользовавшаяся авторитетом, и находившийся у нее в гостях заведующий внутренним обозрением „Отечественных Записок" С. Н. Кривенко, также имевший отношение к революционным делам. Они были близки между собою и в ссылке поженились.

У Усовой я едва не попал в засаду. Она была городской учительницей и жила при училище на углу Забалканского пр. и Обводного канала. Утром после ее ареста я шел к ней и у ее дома заметил подозрительных лиц. Особенно привлекли мое внимание двое, стоявшие и суетившиеся на противоположной стороне улицы. Я прошел мимо подъезда, по Обводному каналу, до Варшавского вокзала, вернулся по противоположной стороне канала и с моста стал наблюдать. На моих глазах произошла смена сыщиков; пристав разговаривал с дворником у ворот. Благополучие дома для меня стало сомнительным.

Вернувшись домой, я узнал, что ко мне заходила какая-то барышня и сообщила брату Николаю для передачи мне, что ночью Усова и Кривенко арестованы. Я немедленно пошел в „Отечественные Записки", где об аресте Кривенко еще не знали и удивлялись, что он не приходит в редакцию.

Арест Усовой и Кривенко произвел большое впечатление. Но никто не говорил о том, что они выданы. С. Е. Усова была тесно связана с партией, играла первенствующую роль в „О-ве помощи политическим ссыльным и заключенным“ и легко могла скомпрометировать себя. Кривенко же был арестован на ее квартире. О выдаче их не говорили и в „Отечественных Записках“.

Тем неожиданнее и сенсационнее стало известие, полученное на свидании с Кривенко, о предательстве Дегаева. Но и словам Кривенко многие не придали значения, предполагая, что жандармы морочат его. Сомнения исчезли, когда от Усовой, также на свидании, кажется с отцом, было получено сообщение: „Передайте на волю—я выдана Петром Алексеевичем!“

С. Е. Усовой нельзя было не верить: все знали ее, как осторожного партийного человека. В широких кругах партийных и примыкающих к ним пошел ропот, возмущение „генералами от революции“, которые якобы сознательно терпели Дегаева и его жертвы, лишь бы достигнуть цели и убить Судейкина. Люди, не зная, что предательство Дегаева совершенно прекратилось в сентябре [1], когда Дегаев был в Париже, были убеждены, что он выдавал до момента расправы с Судейкиным. Мы возражали. Я, уже знавший обстоятельства дегаевского дела, не мог раскрыть всех его подробностей, но по возможности старался разъяснить; но мне не верили и упрекали, что из-за партийной дисциплины я умышленно искажаю истину. В еще более трудном положении были Якубович и Степурин, занимавшие центральные места в петербургской организации. Арест Усовой и Кривенко в широких кругах рассматривали, как акт, совершенный Дегаевым в самый последний момент перед убийством Судейкина.

[1] Г. А. Лопатин говорит в своей автобиографии, что Дегаев ездил в Париж в мае, когда и покаялся Тихомирову и Ошаниной. Но он не выполнил обещания и даже продолжал выдавать. Тогда из Парижа ему пригрозили, что опубликуют об его предательстве, и он снова в августе поехал. В Париже подтвердил свое обещание прекратить выдачи и помочь убить Судейкина.

— Вы говорите, что Дегаев прекратил предательство в сентябре... Но как вы объясните то, что Судейкин три месяца терпел Дегаева, не получая от него полезных сведений?

Так возражали нам. Письменное или гектографированное сообщение Исполнительного Комитета только подлило масла в огонь. Поднялся ропот против „якобинского централизма“ заграничного центра, оторванного от условий России. Шипицын горячился—„мы не пушечное мясо“. „Дед“ (М. П. Овчинников), нелегальный, бежавший из Сибири, тогда преданный революции и в 1884 г. введенный в центральную комиссию, которая в России должна была заменить Исполнительный Комитет, возмущался и, не стесняясь в выражениях, бранил парижан.

Он говорил, что предательство заграничников развязывает ему руки. В этом, вероятно, и заключается разгадка причин его откровенных показаний, о которых стало известно в последнее время, а я услыхал о них в 1925 году. Я никогда не сомневался в М. Н. Овчинникове, ценили его и за границей, а Куницкий был с ним приятелем.

Его глубоко огорчало то, что Дегаев предал Веру Фигнер: „за это нет ему прощения“, „никакие Судейкины не могут возместить этот удар по партии“. С Овчинниковым пришлось спорить по этому вопросу и в тюрьме, когда в 1885 г. он сидел подо мною в Доме предварительного заключения. Время не смягчило „Деда“. Он отошел от революции и в Сибири увлекся археологией. Более спокойно и объективно относился к дегаевскому делу В. Л. Бурцев. Н. М. Флеров возражал против централизма, благодаря которому при провокаторстве может провалиться вся организация. В этом вопросе к Флерову примыкали и мы.

Я уже говорил, что в нашей группе не раз подымались вопросы о необходимости введения в программу аграрного и фабричного террора. Все мы, а также позднее вошедшие в нашу группу Ф. Олесинов и П. Н. Мануилов были сторонниками широкой автономии. Не будь провокации

Дегаева и того отношения со стороны Тихомирова, Ошаниной и др., какое проявилось в этом провокаторстве, вероятно, все эти вопросы не были бы поставлены остро и так ультимативно, как это было сделано в январе 1884 г. Только при централизме были возможны такие провалы и выдачи, какие сделал Дегаев. Он, и только он один, разгромил военную организацию и партию „Народная Воля", когда она была особенно сильна.

Наша группа настаивала на полной автономии групп, между которыми могут быть только деловые отношения. Мы не выдвинули вопроса о центре, зная, что он будет поставлен при переговорах. Наши предположения мы передали Александру Ивановичу (П. Ф. Якубовичу), который согласился присоединиться к нам, если мы поставим вопрос о центре. Он соглашался с нами, что централизация должна быть смягчена и центр должен находиться не за границей, а в России. Без центра организация невозможна. Центр может быть составлен из представителей групп. Кажется, Овчинников возражал против всякого центра. Мы договорились с Якубовичем и дальше уже выступали в контакте с ним. Степурина мы пока не вводили в наши переговоры. Он стоял на платформе Исполнительного Комитета, который и по его мнению должен находиться в России, а не за границей. Он ждал директив из Парижа, которые должен был привезти Г. А. Лопатин.

Инициативу в деле создания „Молодой Партии Народной Воли" в литературе приписывают обыкновенно П. Ф. Якубовичу. Но это не совсем так. Инициатива в создании этой группы скорее принадлежит Н. М. Флерову,— Якубович же проявил наибольшую энергию в организации этой партии. Идеи, положенные в программу „Молодой Партии Народной Воли", сложились у Бодаева и Флерова еще тогда, когда я вступал в их группу. Бодаев все время, а Флеров до марта 1884 года, когда он сделался нелегальным, работали исключительно среди рабочих и стремились создать революционную группу из народа. Они желали, как я уже писал, передать революционное движение в руки самих рабочих и крестьян. После убийства

Судейкина Якубович, уже ознакомленный с воззрениями членов нашей группы, ближе стал к нам и подружился с Н. М. Флеровым, с которым у него были длительные разговоры. Он соглашался, что программу новой партии следует хорошенько продумать, обсудить, формулировать и затем приступить к переговорам и вести их в дружеском тоне. Тогда никто из нас не думал о расколе, а считалось необходимым пересмотреть программу Исполнительного Комитета; повторяю—никто не думал ни о какой новой партии. Н. М. Флеров указывал на то, чтобы при пересмотре программы были сделаны шаги в направлении объединения крестьян и рабочих с революционной интеллигенцией не на словах, не на бумаге, а на деле.

— Кто знает, быть может уже наступил момент, когда борьба должна быть перенесена в деревню и на фабрику, когда мы не будем заниматься исключительно политическим террором.

Под углом такой намечающейся программы мы оживленно обсуждали вопросы о возможности фабричного и аграрного террора, конечно в особо исключительных случаях, напр. после усмирения крестьянских волнений, особенно если при этом была применена порка, после забастовок и разгона рабочих, когда пролилась кровь, и т. п., а отнюдь не избивать помещиков и фабрикантов. В обсуждении всех вопросов принимал участие и Якубович. Все мы сходились в вопросе о необходимости смягчения централизации и перенесения революционного центра из-за границы в Россию. За границей должны оставаться запасные члены Центрального или Исполнительного Комитета. Это будет резерв, состоящий из испытанных и вполне надежных людей, которые в каждый момент могут быть вытребованы в Россию. Но не они будут давать распоряжения, а Комитет, находящийся в России, будет управлять организацией и давать поручения заграничникам. Заграничники могут делать только предложения. Вопрос об аграрном и фабричном терроре, с перечислением по возможности случаев, когда его применять и кто решает этот вопрос, был принят единогласно. Окончательная ре-

дакция этой программы должна была быть выработана уже после переговоров с народовольцами не только в Петербурге, но и в провинции. Тогда же мы наметили и агентов для провинции—Якубовича, Флерова, Мануилова и Добрускину. В Петербурге Флеров, Бодаев, я и др. знакомили с программой отдельные кружки и организации, не принадлежавшие к нашей и благоевской группам. Вопрос о пересмотре программы Исполнительного Комитета и наша новая программа встретили сочувствие в кружках. „Дед“ (М. П. Овчинников) настаивал, чтобы новая программа была предъявлена Исполнительному Комитету ультимативно. Но мы были менее решительны и не хотели разрыва с партией „Народной Воли“. Если бы соглашение между нами и „Народной Волей“ не состоялось и мы вынуждены были бы выйти из ее состава, то, по предложению Якубовича, чтобы показать преемственную связь с „Народной Волей“, решено было новую организацию назвать „Молодой Партией Народной Воли“. В феврале Якубович съездил в Киев и посетил некоторые города. Он привез известие, что во многих местах к новому направлению относятся сочувственно, а Шебалин в Киеве заявил, что он к нам присоединяется. П. Ф. Якубовичу было поручено вступить в переговоры со старыми народовольцами. В начале марта у нас шли оживленные совещания. Старые народовольцы, Степурин, Бах, только что вернувшийся из-за границы Г. А. Лопатин и др., были против образования новой партии, считая для себя неприемлемым фабричный и аграрный террор, хотя на Воронежском съезде в 1879 г. этот вопрос, насколько мне известно, был разрешен в положительном смысле. Лопатин окрестил „молодых народовольцев“ „красными петухами“ и говорил, что „они хотят пустить красного петуха“. Это было сказано, быть может, остроумно, но не соответствовало действительности, так как деревенские пожары устраивать мы не думали, а считали возможным в исключительных случаях допустить террористические акты фабричного и аграрного характера. Позднее, в сентябре 1884 г., я беседовал по этому поводу

с Лопатиным, и он согласился, что „красные петухи“ это только его крылатое словечко. Петербургские пролетариатцы хотя и не принимали участия в наших переговорах и совещаниях, но по духу стояли ближе к нам, чем к старым народовольцам, вынужденным всю свою силу воли и энергию отдавать политической борьбе. Наша программа встречала сочувствие и в провинции, куда мы думали послать агентов с пропагандой наших идей. Для Ростова мы уже наметили Добрускину, которая являлась горячим и убежденным адептом молодой партии. В марте она поехала в Ростов и, наряду с пропагандой программы „Молодой Партии Народной Воли“, занялась местными делами, вошла в Центральный Комитет, была арестована, признала себя членом „Молодой Партии“, судилась по лопатинскому процессу, была приговорена к 4 годам каторги, которую отбывала на Каре; потом вышла замуж за Анд. Ф. Михайлова и теперь живет в Москве.

В это же время мы не только пересматривали и обсуждали программу „Народной Воли“ и намечали изменения в ней; некоторым из нашей группы пришлось заняться и организацией новой типографии. После ликвидации типографии Шебалина в Петербурге у организации не было типографии,—не было ее и у нашей группы. Н. М. Флеров решил к этому делу приспособить домашнюю учительницу С. А. Сладкову, с которой он познакомил меня и Якубовича. Мы одобрили его выбор. В январе Сладкова уже поселилась на Лиговке. Когда же стало известно, после ареста Усовой, о провокации С. П. Дегаева, Флеров нашел, что он лично не годится для сношений с типографией, и с нашего согласия передал эти сношения П. Н. Мануилову, как наименее скомпрометированному из нас. Мануилов закончил организацию типографии, в которой были напечатаны прокламации Исполнительного Комитета по делу Дегаева и „Воззвание Центрального кружка учащейся молодежи“. В этой типографии мы мечтали печатать „Рабочую Газету“, а если разойдемся с „Народной Волей“, то и орган новой партии—„Народную Борьбу“. Но типография после мартовского разгрома была арестована,

Сладкова успела скрыться и эмигрировала за границу; Мануилов уцелел до лета, когда был арестован в Москве.

Но вернемся к „Молодой Партии Народной Воли“. Несомненно, течение „Молодой Народной Воли“ создалось отчасти благодаря дегаевской истории, как протест против сугубо централистической политики Исполнительного Комитета. В то же время оно было неизбежно и по другой причине: политический террор отвлекал все силы партии и заслонял работу в других отраслях партии. Необходимо было выдвинуть аграрный и фабричный вопросы и поставить их рядом с политическим террором. Мы не желали и не могли откалываться от „Народной Воли“, с которой были кровно связаны. Мы не желали раскола и надеялись, что договоримся с народовольцами.

Так это и случилось. Но мне не пришлось уже участвовать в конечных переговорах: 16 марта 1884 г. я был арестован.

Переговоры продолжались и после моего ареста. Наиболее оживленные заседания происходили в конце марта и в апреле, когда в Петербург были вызваны члены партии из провинции, между прочим А. В. Гедеоновский, А. Н. Бах и др. После мартовского погрома „Народной Воли“ думать о расколе в партии было безумием и преступлением для дела. Образование после съезда народовольцев в Париже особой комиссии, заменяющей Исполнительный Комитет и пребывающей в России, умаляло, даже аннулировало значение заграничного центра и вместе с тем смягчало централизм партии. Вопрос же о фабричном и аграрном терроре, в виду нового разгрома в партии, терял практическое значение. Переговоры пришли к благополучному концу, и в № 10 „Народной Воли“ от имени „Молодой Партии Народной Воли“ была напечатана декларация; это заявление было необходимо в виду того, что слухи о расколе в партии широко распространились в обществе.

Раскол в партии не произошел благодаря главным образом П. Ф. Якубовичу, который и после соглашения продолжал работать для объединения партии. Некоторые кружки, особенно кружки Ф. В. Олесинова, не желали

подчиняться состоявшемуся соглашению и вели линию „Молодой Партии Народной Воли“. После нашего ареста, отъезда Флерова они порвали сношения с „Народной Волей“. После освобождения мне пришлось убеждать их вернуться в ряды народовольцев. По этому поводу у меня были постоянные разговоры и с Лопатиным, и с Якубовичем. В ноябре 1885 г., накануне своего ареста, Петр Филиппович написал мне большое мотивированное письмо, убеждая энергичнее воздействовать на „молодых народовольцев“. Письмо до меня не дошло,—оно было захвачено при аресте студента Ермолаева, который должен был передать письмо мне. О содержании письма я узнал уже от самого Якубовича, когда он с каторги ехал в Курган.

В настоящее время, с легкой руки „Истории революционного движения в России“ Туна, это письмо не раз опубликовывалось и комментировалось.

Уже после нас часть кружков, не соглашавшихся признать договорные условия с „Народной Волей“, вместе с благоевцами вошли в состав „Группы Освобождения Труда“. Ф. В. Олесинов был арестован в Батуме, когда под видом турка хотел уехать за границу. Он так и остался неприсоединившимся.

Но вернемся к весне 1884 г. К марту 1884 г. из Парижа в Петербург вернулись Г. А. Лопатин и Н. М. Салова, участвовавшие на Парижском съезде народовольцев, где решено было произвести реорганизацию партии. Вместо Исполнительного Комитета была образована из 17 человек Центральная Группа, возглавляемая Распорядительным Комитетом из трех лиц: Г. А. Лопатина, Н. М. Саловой и В. И. Сухомлина (он уехал из Парижа на юг). В Центральную Группу в Париже не ввели ни Якубовича, ни Флерова. Из нашей группы был введен только М. П. Овчинников. Такое отношение к Якубовичу и вообще к деятельным петербуржцам удивило не только нас, но и А. Н. Баха, что он и высказал Лопатину. Якубович не реагировал на этот факт, а вскоре стал работать с Лопатиным, и они сошлись так, что один без другого обходиться не мог.

XVI

Первый арест. Дом предварительного заключения. Освобождение. Революционная деятельность в конце 1884 и в начале 1885 гг. Революционные сумерки. Лопатин, Якубович и Салова. После них. Женитьба. Дерптская типография. Крушение надежд

В Петербурге начались массовые аресты.

В начале марта арестовали чиновника министерства финансов Антоновского, секретаря съезда мировых судей А. И. Юрасова, студента Вишневского и еще кое-кого. Все были мои знакомые, а Вишневский принадлежал к нашей группе. Двое были взяты и из кружка путейцев, в организации которого участвовал Дегаев. Заходил ко мне путеец князь Г. З. Андронников и говорил, что и он ждет ареста, и не ошибся. Вскоре после этих арестов арестовали К. А. Степурина. Это был уже серьезный удар не только по петербургской организации, но и для всей партии. После ареста Степурина Флеров и Якубович перешли на нелегальное положение. Советовали сделать это и мне, но я отказался. 15 марта зашла ко мне жена А. В. Подбельского, окончившего Университет, у которого бывали пролетариатцы, Овчинников и др. Бывал у них и я и даже был свидетелем на их свадьбе. Она сообщила мне, что муж арестован. Он просил передать мне, что и кого я могу признавать и от кого я должен отказываться, если и меня арестуют. Все это мне на допросах пригодилось. Со стороны Подбельского я менее всего ожидал быть скомпрометированным.

В ночь на 16 марта произошли большие аресты. Были арестованы я, Пихтин, Шипицын, М. Протопопов, писатель Эртель, Толпыго, кн. Андронников, Михмандаров и многие другие.

Рано утром меня разбудили, и я увидел частного пристава и понятых. Прокуроров и жандармов нехватило: по Петербургу шел разгром. При обыске ничего не нашли, так как я его ожидал и подготовился; но меня все-таки увели в участок и посадили в кабинет пристава. Городовой принес мне кое-какие вещи и даже привел с собой моего младшего брата Николая—„повидаться".

Это было кстати. Николая я попросил предупредить мою невесту, В. А. Лушникову, дал ему явку к Венгерову и в „Отечественные Записки" с предупреждением о моем аресте. С разрешения пристава написал в училище Тименкова-Фролова письмо о том, что я должен экстренно уехать к заболевшей сестре в Вартемяги и в течение нескольких дней на уроках быть не могу. Пристав напоил меня чаем.

— Вот мы с вами спокойно беседуем. Не то, что 4 года тому назад, когда в том же Саперном переулке (я жил с матерью и братом в Саперном переулке, куда переехал с Моховой) нам пришлось с боя брать тайную типографию.

Он мне подробно рассказал об аресте этой типографии, об опасности, какой он подвергался.

— У вас не серьезное дело; вероятно, знакомство; иначе производили бы обыск прокурор и жандармы... Допросят и отпустят,—утешал меня пристав.

Но я не был уверен, что „отпустят", и решал вопрос, с какой стороны я зацеплен.

Наконец, часов в 11—12 приехала карета с двумя жандармами, и меня повезли на Гороховую улицу, в дом градоначальника, где была охранка и жандармское отделение.

Обыскали... заперли в камеру. Я прилег на диван и заснул. Накануне лег поздно и почти не спал. Просыпаюсь... Кто-то меня расталкивает; протираю глаза и вижу жандарма:

— Пожалуйте!..

Но я не сразу „пожаловал“, так как не сразу очнулся.

Жандарм провел рукой по карманам и повел меня на допрос.

Физиономия моя еще не проснулась. Молодой человек в статском отрекомендовался товарищем прокурора Романовым, а офицер—ротмистром Оноприенко. Оба глядели на меня и улыбались, а жандарм докладывал:

— Крепко спал... Едва растолкал.

— Ну, вы или невинный младенец, или закоренелый преступник,—заявил Романов.

— Ни то, ни другое, а просто простой учитель, который недоумевает, зачем он сюда попал.

— А вот увидите...

— Если вы желаете быть свободным, то откровенно расскажите о своей революционной деятельности, не скрывая ничего. А ну, потом, может быть, и договоримся до чего-нибудь. Никто не будет знать о вашем аресте,—увещевал меня Романов.

— Быть свободным я желаю и думаю, что это скоро случится. Насчет же революционной деятельности рассказать ничего не могу, так как я ею не занимался.

— Вот как!.. А Подбельского знаете?

— Александра Войцеховича?—обрадовался я, узнав, что ударило меня с самой невинной стороны.

Наивная радость и простодушие моего восклицания произвели благоприятное впечатление, и если бы я продолжал отвечать на дальнейшие вопросы в том духе, как условился с Подбельским через его жену, то, вероятно, я был бы освобожден, как некоторые другие из моих знакомых, арестованные также в связи с Подбельским, напр. А. Н. Шипицын. Но я на предложенные вопросы заявил, что имен не буду называть не потому, что хочу что-то скрывать, а просто не хочу компрометировать других, которых так же, как и меня, оторвут от дела и семьи и привезут сюда.

— Ну, если не хотите, то подпишите эти бумаги (о моем аресте и допросный лист).

Я подписал. Меня снова посадили в карету и повезли на Знаменскую улицу, мимо Саперного переулка, где я жил. Оказалось, привезли в фотографию, где меня сняли в шляпе и без шляпы, в профиль и en face. После фотографии привезли в Дом предварительного заключения, где меня (за день в четвертый раз) тщательно обыскали и посадили в камеру, рядом с лазаретом. Стекла в окне были шероховатые, блестящие, и через них ничего не было видно. Попробовал постучать в стены; никто не откликнулся.

Камера была отменно чистая, с водопроводом и со „всеми удобствами“.

Я не унывал: факт заключения меня не в крепость и вопрос только о Подбельском говорили за то, что серьезных улик против меня нет. Дегаев, вероятно, не занес меня в свои списки, а быть может хранил меня на развод.

Я обдумал свое положение, а также разрешил вопрос, что следует показывать на допросах, кого могу признавать в связи с Подбельским, чтобы не компрометировать ни его, ни других. Через несколько дней я получил передачу и по ней догадался и обрадовался, что моя невеста цела. Неделю держали меня в изолированной комнате, а потом перевели в другую, с обыкновенными стеклами. Я взобрался на раковину водопровода, чтобы посмотреть в окно, и в „стойлах“, в которых мы гуляли, увидел многих своих знакомых, в том числе кн. Андронникова, Пихтина, И. В. Мартынова, Подбельского и др. Среди гуляющих было много военных, главным образом артиллеристы и моряки. У всех офицеров были сняты погоны, чтобы не смущать часовых-солдат и конвоиров-жандармов. Военные составляли добрую половину среди заключенных. Офицеров свезли со всех концов России. Говорят, дело для большинства из них кончилось относительно легко, административным порядком и даже переходом в гарнизоны и на окраины. Благодаря массе арестованных предать их суду не решились: это был бы мировой скандал для императорского правительства.



Константин Гаврилович Неустроев



Неонила Михайловна Салова

Соседом моим оказался студент, с которым я встречался на воле; фамилии его не помню. С другой стороны сидел уголовный, с которым я не разговаривал. Подо мной камера была пуста, но зато под соседом-студентом сидел какой-то офицер, а рядом с ним Бодаев, которого арестовали 3 апреля. Я узнал, что Бодаева обо мне не спрашивали, что Н. М. Флеров не арестован, а уехал в Москву, чему я порадовался. Скоро удалось добраться и до Подбельского, с которым мы окончательно договорились о том, что показывать. Дали мне и свидание—с матерью, братом Ильей и невестой. Мои родные раньше не были знакомы с В. А. Лушниковой, которая училась на Бестужевских курсах. Когда она явилась к ним, то мои родные подумали, что барышня—фиктивная невеста, которых тогда было не мало среди курсисток—„невест на случай свиданий" с заключенными, особенно с теми, у которых не было родных. Брат отговаривал Лушникову, чтобы она не компрометировала себя в отношении благонадежности; но она настояла на свидании, и мои родные подтвердили жандармам, что она—подлинная моя невеста. На свиданиях, особенно через решетку, я получил не мало полезных для допроса сведений, а также узнал об аресте К. М. Станюковича и многое другое; узнал и о закрытии „Отечественных Записок". У меня было два свидания в неделю—одно через решетку, а другое внизу в комнате.

И на втором допросе я продолжал разыгрывать простодушного юношу и дал удовлетворительные ответы. Спросили о С. Е. Усовой—отказался, о Шипицыне сам задал вопрос:

— Это веселый красивый студент, балагур и хороший запевала?

Вызвали еще раз на допрос по какому-то незначительному поводу. Все сложилось благоприятно для меня, и 1 мая я был освобожден на поруки и под залог 2 тыс. руб. Среди лета еще раз меня потревожили и вызвали на допрос; спросили о М. П. Овчинникове,—встречался ли я с ним у Подбельских. Подбельский признал, что он бывал у него, а Овчинников почему-то отрицал это.

На первом допросе я отказался от него. На свидании через невесту сообщил об этом жене Подбельского. От него я получил директиву не придавать значения знакомству Овчинникова с Подбельским, отнестись просто, потому что он „мой школьный товарищ, а о его революционной деятельности я (Подбельский) ничего не знаю". Фамилию и кличку „Дед" я не признал, а когда показали мне его карточку, то ответил, что как будто бы встречался, но где, не знаю, быть может и у Подбельского. Мои родные, увидев, что арест затягивается, представили в училище, где я преподавал, докторское свидетельство Н. К. Чермака, вартемягского земского врача, о том, что я сломал или вывихнул руку, зашиб ногу, вывалившись из телеги, и лежу в Вартемягах в постели. В училище уже пошли смутные слухи о моем аресте, но я, явившись в училище немного прихрамывая, рассеял их. В училище о моем аресте знали только учительница Сивкова и учитель Болотов, которые молчали об этом. Они не раз оказывали услуги партии.

Допросы показали, что в охранке обо мне нет серьезных сведений. Система конспирации Флерова, над которой подтрунивали, была полезна не для одного меня, а и для других, и между прочим для Бодаева, которого выслали только на родину. После выхода из тюрьмы я устроил со всеми предосторожностями свидание с П. Ф. Якубовичем. Он рассказал мне много интересного и обрадовал сообщением, о котором я уже знал в предварилке, о том, что переговоры с Лопатиным, Саловой и др. по поводу „Молодой Народной Воли" привели к соглашению, и разрыва с „Народной Волей" не будет. Заявление „Молодой Народной Воли" будет напечатано в № 10 „Народной Воли". Рассказал он подробности об арестах Степурина, а в Киеве—Караулова, Шебалиных, Рехневского и др.; сообщил также о Флерове, который жив, не арестован, находится в Москве, и с ним Якубович часто переписывается.

— Я уже написал Флерову, что вы освобождены; здорово обрадуется.

В общем картина была нерадостная. Я уговаривал Якубовича уехать за границу, но он сказал, что сделать этого не может.

— Доживу до осени и тогда, быть может, на время уеду, а теперь не могу. Да у меня хороший паспорт и много друзей, у которых всегда найду приют.

С Лопатиным у него восстановились хорошие отношения. Внешний вид Г. А. Лопатина, по выражению Якубовича, „под иностранца" (он приехал с английским паспортом) обращал на себя внимание, что сильно беспокоило Якубовича. Действительно, вся фигура Лопатина невольно привлекала к себе внимание: красивое лицо незаурядного человека, золотые очки на сильно близоруких глазах, борода, подстриженная веером, короткое на французский манер пальто и серая мягкая шляпа. Во всей фигуре, походке, приемах было много самостоятельности и силы. Позднее, когда я стал видеться с Лопатиным, я передал ему о беспокойстве Якубовича, на что он шутя заметил:

— Тоже колет глаза! А сам-то каков, ваш Александр Иванович? Одни очки его чего стоят!..

Якубович никогда не носил очков, а сделавшись нелегальным, стал носить густые синие очки, которые я ему советовал заменить пенснэ с простыми сероватыми стеклами. Но он этого не сделал.

Мы условились встречаться с Якубовичем. Он назначал мне через кого-нибудь место свидания. Он согласился со мной, что в интересах дела мне следует пока остаться в стороне от революции и „восстановить свою благонадежность". Но „человек предполагает, а бог располагает".

Лето я продержался, почти не соприкасаясь с революционерами, хотя изредка виделся с Якубовичем и раз даже с Н. М. Саловой. С августа я стал втягиваться в революционные дела. За отъездом Флерова, арестом Бодаева, Пихтина, Андронникова, Михмарданова, арестом Андржиковича, Паули, Никвиста, пролетариатцев и др. некоторые учреждения и рабочие кружки затерялись; о них знал только я. Пришлось войти с ними в сношения. Остались лица и на воле и выпущенные из-под ареста, с которыми

только я мог видеться. Иногда случайно на улицах я встречался с рабочими, которые вследствие наших арестов потеряли связи с интеллигенцией; встречался и с нужными людьми, которые хотя и не состояли в партии, но оказывали ей услуги. Приходилось восстановить связи со всеми этими лицами и учреждениями и передать их в партию. Так незаметно я снова втянулся в революционную работу.

В августе Якубович уехал в Дерпт печатать № 10 „Народной Воли". Г. А. Лопатин и П. Ф. Якубович передали мне сношения с литераторами и в том числе с Н. К. Михайловским. Якубович печатал в Дерпте № 10 „Народной Воли", в котором была и статья Михайловского по поводу закрытия „Отечественных Записок"—„Бурбон стоеросовый чижика съел". По поручению Лопатина я ездил к Г. И. Успенскому на дачу около Бологого. Бывал там и Михайловский. Но в общем я виделся с ними редко. Михайловский резко отрицательно относился к „Молодой Партии Народной Воли" и к фабричному и аграрному террору.

— Став на этот скользкий путь, легко докатиться и до разбоя,—говорил он с раздражением.

Но и он соглашался, что Тихомиров и Ошанина, назначив Центральную Группу и Распорядительную Комиссию, путем инвеституры старого Исполнительного Комитета, сделали ошибку. Успенский также не особенно сочувствовал „молодым народовольцам", но относился к ним мягче, чем Михайловский. Мне казалось, что мужик и рабочий, на которых хотела опираться группа, привлекали Глеба Ивановича, но против „Молодой Партии" был Г. А. Лопатин, которого Успенский обожал. Как-то раз я заметил, что в характере Лопатина есть доля авантюризма, при чем тут же прибавил, что это я говорю не в дурном смысле слова, а подчеркиваю любовь Лопатина к риску, к игре с огнем.

— Как можно говорить это о таком исключительном человеке, как Герман Александрович! У него все продумано, все предусмотрено,—так возражал мне Г. И. Успенский.

История с записной книжкой Лопатина, которую он не успел уничтожить, произвела на Глеба Ивановича тяжелое впечатление:

— Как это он... Не понимаю!..

Во время моих свиданий с Михайловским он любил развивать свою теорию прогресса, доказывая, что политическая свобода--крупный шаг по пути к осуществлению социалистического строя. На эту тему он намерен был дать статью в № 11 „Народной Воли". Но в январе 1885 г. провалилась дерптская типография, а в феврале арестовали меня. Мы оберегали Михайловского, и жандармы не могли к нему подкопаться и даже не установили его псевдоним „Гроньяр", под которым он печатался в „Народной Воле".

Условия работы были не прежние. Приходилось работать с людьми, за исключением Якубовича. не связанными со мной узами дружбы. В верхах петербургской организации стояли одинокие лица: Лопатин, Якубович, Салова, одно время Бах—и, кажется, только. Все они находились под Дамокловым мечом и ежедневно могли быть арестованы. Новых работников было мало, или, вернее, их не было. С осени выдвинулась М. Н. Емельянова, сибирячка-курсистка, вышедшая впоследствии в Якутске замуж за Костюрина. В 1885 г. реакция действовала вовсю. Такого гнета, какой с осени 1884 г. стала переживать страна, раньше не было. Газеты и журналы были закрыты или закрывались, из библиотек изъяли сотни полторы названий легальных сочинений, даже некоторых наших классиков. Вредным оказалось „Родное Слово" Ушинского, по которому мы все начинали учиться. Высшие учебные заведения были исковерканы, суд изуродован, всюду засели карьеристы. В обществе шел глухой ропот. Осторожно высказывались сожаления, что не стало террористов. Начали поговаривать о важности „малых дел".

Отсюда понятно, почему Г. А. Лопатин считал необходимым для поднятия престижа партии и встряски общества организовать террористический акт, объектом которого должен был быть bête noire тогдашней политики, гр. Дм. Толстой. Пошли поиски лиц, помещений, попытки в местах проезда Толстого арендовать портерную, откуда можно было бы вести подкоп. Одно такое помещение было

намечено к аренде еще весной, но ввиду арестов пришлось отказаться от него. В мае была произведена попытка покушения на Д. А. Толстого. Инициатором и организатором ее был Н. М. Флеров. Вторым участником был рабочий-столяр с фортепьянной фабрики Шредера—Пав. Игн. Богданов, 23-летний высокий здоровый блондин, человек с редкой решимостью и силой воли. Он был женат и имел ребенка. Флеров и Богданов, вооруженные револьверами, явились на прием к министру в качестве: один—издателя, другой—редактора, с ходатайством о новой газете. Но вместо Толстого вышел его товарищ, и покушение не было приведено в исполнение. П. Ф. Якубович, близко стоявший к этому делу, так был поражен спокойствием и вообще поведением Н. М. Флерова, что написал и посвятил ему стихотворение „Выбор". Стихотворение это не напечатано. В нем рассказывается, как на собрании обсуждался вопрос—„да сгибнет Ваал" и выбирали исполнителей „это дело святое свершить". Самый скромный из присутствовавших, не называя имен, дал характеристику трех лиц, причем двум—рабочему простому и другому „в блеске сил огневых, блестящих"—похвальную, а третьему—более чем скромную. Но и

Он воспрянет, не думая долго,
И без лишнего стона умрет!
Все мы стихли, смутившись душою,
Все сраженные думой одной.
. . . .
А товарищ, тихонько смеясь,
Молвил тоном доверчивой ласки:
— Я сгустил, видно, мрачные краски?
Если нужно, пойду не страшась!

Под стихотворением пометка: „Июль 84 г. Дерпт".

Но вернемся к моим воспоминаниям. Вышедший в августе—сентябре № 10 „Народной Воли"[1] был встречен обществом сочувственно.

[1] Вторым изданием вышел в октябре в Ростове-на-Дону.

— А, еще живы!—говорили мне знакомые из либеральных кругов, когда я передавал им этот номер.

Студенчество и молодежь с восторгом встретили это доказательство жизни партии, но, чтобы закрепить уверенность, что партия „жива“, нужно было скорее издать № 11. На этом настаивал и Н. К. Михайловский, обещавший статью. Якубович организовал в Дерпте типографию и великолепно забронировал ее. Но в этой типографии не было достаточного количества материала, между тем у нашей группы сохранились кое-какие остатки шрифтов и материалов. Все это пришлось отправить в Дерпт. В сентябре в военно-окружном суде начался процесс 14-ти (В. Н. Фигнер, Волкенштейн, Штромберга, Ашенбреннера и др.). Процесс по участникам и эпохе, захваченной им, был выдающийся. Нужно было информировать общество, хотя бы посредством гектографа. Пришлось взяться и за это дело.

— А потом будете информировать общество и о нашем процессе,—с горечью шутил Г. А. Лопатин.

Несмотря на всю отвагу „удалого доброго молодца“, как называл его Г. Успенский, и на железную его волю, он как будто потускнел: условия работы были тягостные, а условия жизни не лучше. Лопатин понимал, что висит на волоске не только он, а с ним и вся организация. Эту мысль не раз высказывал Якубович, который сблизился,—скажу, подружился—с Лопатиным. Оба они уговаривали друг друга уехать за границу, но оба отказывались, не считая возможным в критический момент оставлять ряды партии. Новых заместителей не было... Лопатин, Якубович, Салова поистине были обреченные последние могикане „Народной Воли“. В тюрьмах сидело не мало знакомых и друзей и между ними С. Н. Флоровский, с которым я был дружен с детства, и „Дед“ (М. Н. Овчинников) и другие. Нужно было заботиться и о них... С невестой Флоровского, О. Н. Фигнер, которая была на одном курсе с моей невестой, В. А. Лушниковой, мы часто виделись; она мне рассказывала о Сергее, и я ее информировал о делах. В 1885 году, когда я уже был вторично аре-

стован, Флоровского согласились освободить под залог. Моя жена достала этот залог, и Флоровского освободили и выслали. Он женился на О. Н. Фигнер, и они вместе уехали в ссылку, в Западную Сибирь, откуда С. Н. Флоровский вернулся в Ярославль, где он скончался. Ольга Николаевна пережила его и умерла в 1920 году в Орловской губ. у племянницы-врача.

6 октября разразился удар—на Невском арестовали Г. А. Лопатина и Н. М. Салову. Лопатин не успел уничтожить шифрованные адреса. Начались аресты, не столько в Петербурге, сколько в провинции. Якубович остался во главе петербургской организации. Помогали ему Емельянова и я. Я виделся с ним часто на хороших квартирах, между прочим у И. В. Баснина, дяди моей невесты, В. А. Лушниковой.

В начале ноября мы с ней повенчались и поселились на Бассейной улице, сняв квартиру. Якубович собирался зайти к нам провести вечер и отдохнуть, но „дела не позволяли“, а главное, у него не было уверенности, что он не приведет хвоста. В последний раз я встретил его в Симеоновском пер., у Литейной. Он шел на свидание со мной к Баснину, но по выражению его лица и мимике я понял, что за ним следят. Это и было так: 15 ноября арестовали Якубовича и его невесту, Р. Ф. Франк[1]. М. Н. Емельяновой пришлось взяться за дела вплотную. Я помогал ей, как раньше Якубовичу и Лопатину. Мы уже не думали о расширении организации, а заботились только о том, чтобы сохранить те небольшие силы, которые еще остались в Петербурге. Нужно было восстановить связи с провинцией, а также с заграницей. М. Н. Емельянова, как еще не скомпрометированная, взяла первую миссию

[1] В 1887 г. П. Ф. судили и сослали на Кару, а Розу Франк отправили в Якутскую область, и только в 1894 г, отбыв каторгу за якутский протест, ей удалось в качестве невесты перебраться на Кару, где они и повенчались. Я снова встретился с П. Ф. в Иркутске в 1896 г., когда он, отбыв каторгу, ехал на поселение в Курган, откуда писал в „Восточное Обозрение“ литературные обозрения под псевдонимом „Аквилон“.

на себя и через свою товарку, курсистку Подосову, вошла в сношения в Харькове с Елько. Для заграницы ждали оказии. Нужно было готовить к печати № 11 „Народной Воли“, который решено было выпустить под двойным № 11—12.

В начале января я вошел в сношения с заграницей, откуда обещали командировать на подмогу активных революционеров. Это известие окрылило нас надеждами. Мы были уверены, что с приездом заграничников выпустим очередной номер „Народной Воли“. Но крылья были неожиданно подрезаны.

В половине января 1885 года провалилась прекрасно обставленная и организованная еще Якубовичем дерптская типография, на которой базировались наши надежды. Типография помещалась в квартире двух студентов, которые дали Якубовичу обещание никакими революционными и студенческими делами не заниматься, не компрометировать себя, а сидеть смирно, а если нужно, то и жуировать, но в меру. Адрес этой типографии знали только Якубович и я, а потом Емельянова. Студенты свято исполняли данное обещание. Один из студентов, кажется Иванов, уехал на рождество в отпуск; остался другой, Н. Н. Переляев. Оказалось, что он в детстве или юности страдал эпилептическими припадками, но потом они не повторялись. Переляев о болезни ничего не сказал Якубовичу. В половине января ночью с Переляевым сделался припадок; он упал лицом на тюфяк и, кажется, умер. Дали знать полиции, и вот при осмотре квартиры была найдена типография.

Арест этой типографии разбил наши планы на печатание № 11—12. Нужно было ставить новую типографию или ждать приезда Петра Николаевича (Елько) из Харькова. Быть может, на юге окажется типография.

Елько (псевдоним—Петр Николаевич Ельников) приехал в Петербург в начале февраля. Рано утром он заявился на квартиру В. М. и Л. С. Крутовских, вновь приехавших в Петербург в августе 1884 года. Крутовская была подругой по курсам Емельяновой, а В. М. Крутовской уже был вра-

чом. У Крутовских была своего рода конспиративная квартира, и М. Н. Емельянова дала Елько явку на эту квартиру. В том же доме, с массой квартир, на Кирочной, на одной лестнице с Крутовскими жила курсистка Подсосова, подруга Емельяновой и Крутовской. Елько был и у Подсосовой. На Подсосову он произвел неблагоприятное впечатление. М. Н. Емельянова также осталась им настолько недовольна, что не сообщила ему обо мне и решила, что мне вообще не следует видеться с Елько. Пока у меня с ней шли разговоры об Елько, он узнал мой адрес и был у меня; но я принял его холодно, заявив ему, что он адресом ошибся. Вскоре он был арестован на вокзале.

12 февраля арестовали меня, Емельянову, Подсосову, Ермолаева, Крутовских и др. Елько многих, которые с ним виделись, выдал.

Я, прошедший довольно продолжительную революционную школу, воспринявший конспиративные приемы Н. М. Флерова и наученный горьким опытом других, не исключая Г. А. Лопатина, все записи вел только в исключительных случаях и обязательно шифром и на тонкой бумаге. В то же время я не имел клички, а назывался Ив. Ив., считая, что имя и отчество мои, как широко распространенные, лучше всякой клички законспирируют меня. В то же время мы (Емельянова и я) никому приезжим, в которых не были уверены, не сообщали друг о друге настоящих своих имен; даже Подсосова, с которой я наиболее часто виделся, не знала моей фамилии, а называла меня Иваном Ивановичем. Все это и благоприятно сложившиеся при допросе обстоятельства и при втором моем аресте, хотя я был в центре организации, привели мое дело к довольно благополучным для меня результатам: меня не судили, а административно сослали в Сибирь.

XVII

Второй арест. Тюрьма. Полковник Ерофеев. Соседи. Допросы. „Иван Иванович из „Рабочей группы“ как „антураж лопатинского процесса“. Очная ставка с Грековым решает мою судьбу. Беглый взгляд на прошлое

12 февраля—день именин моего тестя... Утром послали телеграмму в Кяхту. В этот день я был дежурным в училище Тименкова-Фролова, помещающемся и теперь на Выборгской стороне, рядом с тюрьмой „Кресты“. Около 4-х часов я пришел домой обедать и после обеда, когда уже смеркалось, отправился на дежурство. При выходе из ворот, на противоположной стороне Бассейной улицы я заметил двух субъектов, которые при моем выходе засуетились и стали переговариваться; этот факт почему-то запечатлелся в моей памяти; но я не придал ему значения, вероятно потому, что я шел в училище, откуда вечером должен был вернуться домой. Слежка за мной, значит, бесполезна. Дома у меня ничего нет, а на улице, почти среди бела дня, вряд ли меня арестуют: я ведь не нелегальный, который может скрыться. Но когда с Бассейной я повернул на Знаменскую ул. и прошел несколько шагов, то вдруг почувствовал, что меня схватили. Я рванулся, но меня крепко держали за руки.

— Что вам нужно?—спросил я, прекрасно понимая, что я арестован.

— Вы арестованы!—ответил один из трех схвативших меня.

— Кем?

— Нами. Мы агенты тайной полиции. Садитесь на извозчика...

Действительно, рядом с ними стоял извозчик, и даже под лихача.

Я решил не сразу сдаться... Вокруг нас стала собираться толпа; мне важно было по возможности затянуть время: быть может, кто-нибудь из знакомых подвернется и предупредит жену или знакомых.

— Я арестован? Не верю. Почему вы не арестовали меня дома? Я, И. И. Попов, живу здесь рядом, на Бассейной, дом такой-то, квартира такая-то.

Я умышленно громко, чтобы слышали другие, сказал свой адрес.

— Какие-то неизвестные люди в статском платье нападают и говорят—садись на извозчика. Кто мне поручится, что вы не завезете меня куда-нибудь и не ограбите?

Толпа росла, сыщики то и дело показывали мне свои агентурные карточки, убеждали меня войти под ворота, а я требовал, чтобы лицо в официальном платье подтвердило мне, что „вы действительно агенты тайной полиции". Откуда-то появился пом. частного пристава; он просмотрел карточки сыщиков и заверил меня, что на напавших на меня я могу положиться: „они доставят вас куда следует". Аресты на улице легальных производились редко, и то в предупреждение вооруженного сопротивления. Мы вчетвером сели в сани—двое по бокам меня, а один ухитрился влезть спереди—и поехали в знакомое уже для меня место: в охранку, в доме градоначальника на Гороховой. Въехали во двор и по знакомой, совершенно темной лестнице стали подыматься наверх. На лестнице, пользуясь темнотой, я успел вынуть из кошелька в кармане маленькую, на тонкой бумаге записочку с московскими зашифрованными явками и незаметно положил в рот. Сыщики уже не наблюдали за мной: они на Знаменской тщательно ощупали меня и убедились, что оружия при мне нет.

Вошли в управление. Во рту от чернил гадость. Я попросил воды. Жандарм поднес мне стакан воды, и я выпил его. Ввели в кабинет. Я увидел штаб-ротмистра Ива-

нова, который присутствовал при одном из допросов во время первого моего ареста.

— А, Иван Иванович, вы опять у нас. Ну, это недоразумение, сейчас выясним. Никто не узнает о вашем аресте,— конечно, если будете откровенны.

— Оставьте, капитан, ваши разговоры и скажите, по какому поводу меня арестовали.

— Не хотите разговаривать, ну так отправляйтесь в крепость, а потом мы с вами переговорим... Обыщите его...

— Но прежде чем ехать в крепость, надеюсь, вы будете производить на моей квартире обыск, при котором мое присутствие необходимо. По крайней мере я прошу об этом...

— Хорошо, будет так; обыщите. Что у вас есть в карманах?

Я вынул портмонэ и раскрыл его.

— Дайте, я сам посмотрю.

— Простите, я только сосчитаю деньги...

— Не верите, что ли?

— Нет, верю, но все-таки сосчитаю.

Мне нужно было убедиться, уничтожена ли записка с адресами; если нет—постараюсь проглотить. Но бумажка была съедена. Меня обыскали, ничего не нашли, посадили в карету, куда вместе со мной сели какой-то тов. прокурора и жандармский офицер. При переезде мне почему-то врезался в память угол Садовой и Невского, залитый светом, с веселой толпой, освещенными магазинами и часы на Публичной библиотеке. Было половина десятого. Приехали... Я сильно, несколько раз, дернул за звонок. Горничная-финка отворила дверь, испугалась, увидевши полицию и дворников, которых мы захватили на дворе, шпионов, меня арестовавших, которые оказались у дверей моей квартиры.

Я громко сказал:

— С гостями, с обыском!

И вошел в столовую. Шумел самовар, поджидая меня. Жена, мой брат Николай и знакомый Пирронг сидели и читали что-то.

Я быстро выхватил брошюрку, которую они читали, и положил к себе в карман сюртука.

Обыск не дал результатов. Подписал протокол... Взял кое-что из белья, провизии, подушку, одеяло. Жандармы не протестовали. Хотя меня, по словам Иванова, должны были везти в крепость, но повезли опять на Гороховую ул. в охранку. Из кареты меня не вывели. Вместо офицера и тов. прокурора сели два жандармских унтер-офицера... Один крикнул кучеру:

— На Шпалерную!

— Вы,—обратился я к жандарму,—сказали „на Шпалерную", а Иванов говорил о крепости.

— В крепости ремонт, и свободных камер нет... Вас везут в Дом предварительного заключения. Кстати и вещи вам пригодятся,—заметил он, увидевши узел.

В конторе предварилки меня снова тщательно обыскали и в кармане сюртука нашли нелегальную брошюрку, которую я вырвал у брата дома, когда он читал ее вместе с моей женой и Пиррongом. Это были извлечения из процесса 193-х. Брошюрку приобщили к делу. В предварилке я сказал, что она и во время обыска в охранном отделении была у меня в кармане.

— Это вам дала Емельянова?—как-то не то спросил, не то сказал полковник Страхов.—Это ее рука... так мы и запишем.

Я не опровергал и не подтверждал этих слов. Тогда же мелькнула мысль, что это будет лучше для М. Н. Емельяновой: перепиской для гектографа брошюры не станет заниматься человек, стоящий во главе организации.

Ввели в камеру. Было уже за полночь. Я убедился, что в окне были обыкновенные, а не матовые стекла, чему, конечно, порадовался.

Утром осмотрел камеру; за трубой по стене была выцарапана надпись: „В. Г. Короленко". В ней, значит, сидел Короленко во время последнего кратковременного ареста, когда его привезли из Нижнего. Номера камеры точно не помню, кажется 614. Влез на раковину водопровода и посмотрел на „стойла"; та же картина, что и год тому

назад: среди гуляющих много военных. Окно было с форточкой. Это хорошо: буду проветривать камеру и прикармливать голубей и воробьев.

Не успел еще познакомиться с соседями, как щелкнул замок в дверях, и в камеру вошел начальник Дома предварительного заключения полковник Забайкальского казачьего войска Ерофеев. Я его лично не знал, но он был хорошо знаком с многими сибиряками, знал по Забайкалью семью отца моей жены, был знаком с дядей ее И. В. Басниным, у которого она жила, когда училась в гимназии Спешневой, а потом на Бестужевских курсах, вплоть до своего замужества. Ерофеев знал и В. А. Лушникову и слыхал о нашем браке. Он зашел ко мне в камеру, во-первых, по обычаю—всегда посещать новичков, а во-вторых, узнать—не зять ли я А. М. Лушникова. Оказалось, что так. Я спросил его, не привезены ли в предварилку моя жена и брат. Он откровенно ответил, что жены нет, „а вот вашего брата Николая привезли сюда". Это сообщение вызвало беспокойство за судьбу жены. Но Ерофеев успокаивал меня и обещал немедленно сообщить мне, если жену привезут к нему. Пирронга, находившегося у меня во время обыска, также не было. Отсюда я заключил, что арестован только мой брат. Но я ошибся: моя жена и Пирронг также были арестованы, но не надолго. Их продержали несколько дней при Коломенской части, а потом освободили. Моя мать, не дождавшись возвращения домой брата Николая, рано утром пришла на квартиру к нам и узнала, что все мы арестованы. Она отправилась в охранку, добилась Иванова, который ей сказал:

— Что вы хлопочете о своих сыновьях? Плохо воспитали их: их надо повесить...

— Плохо или хорошо я воспитала их, но я знаю, что у меня дети хорошие, и вешать их не за что. А вот воспитанные люди матерям не говорят, что вы сказали. Я спрашиваю, где мои дети и жена Ивана.

— Все они арестованы. Жена будет выпущена, а свидание с вашими сыновьями разрешим после допроса их.

Иванов отличался грубостью и наглостью. Мне не пришлось с ним иметь дело. Он дослужился до генерала; его жестокость и грубость с чинами не смягчалась, а усиливалась.

Брата Николая продержали месяц, отставили от учительства и выслали из Петербурга только за то, что он оказался при обыске в моей квартире, да при этом резко и вызывающе держал себя на допросе.

Ерофеев часто заходил в камеры не только ко мне, но и к другим. Он был довольно откровенен со всеми. Разговор обыкновенно начинался так:

— Опять не спал всю ночь—и чего они хватают людей! Опять привезли.—И начинается перечисление с возможной характеристикой арестованных.

— Вот хотя бы супруги К-ие; вероятно младожены, каждый из них пристает ко мне: передайте мужу, жене, что я здоров, спокоен. Ну как не передать? Я с удовольствием посадил бы в одну камеру, а если бы женское отделение не было отдельно от мужского, то сидели бы они рядом... Но зачем я вам говорю? Я не должен этого говорить...

Такие разговоры он вел не с одним мною, но и с другими, в ком был уверен.

Другой раз придет и расскажет, что сегодня ночью „кутили": отправляли партию в Сибирь. В предварилке был такой обычай: всех отправляемых в Сибирь с вечера сводили из камер в контору; там ставили большой самовар, приносили хлеб, масло, колбасу, сыр. Ссылаемые знакомились между собой и проводили время вместе до отвоза их на поезд, что делалось на рассвете.

— Полковник, кого отправили?

— Нет, этого не могу сказать. Да, положим, они уж выбыли из строя—военнопленные; неопасно; извольте, „перечислю", только вы не болтайте соседям.

И Ерофеев „перечислял"—это его выражение. Так он беседовал со мной, Вершининым, Флеровым, которого арестовали в Москве и привезли в Петербург, а потом сослали в Березов, Бурцевым и др.



Мария Николаевна
Емельянова



Софья Александровна
Сладкова

В Париже в 1889 г. Бурцев уверял меня, что Ерофеев „вполне наш“. Я так не увлекаюсь; но Ерофеев, гуманный и просвещенный, оказывал не мало услуг арестованным. Добротой Ерофеева пользовались дамы—жены и матери заключенных; они просили дать свидание не в очередные дни, и он часто разрешал эти свидания, если только имелось общее разрешение. Моя жена и мать никогда не пользовались этой добротой. Только раз Ерофеев вместе с женой допустил на свидание со мною юную барышню, Нину Кандинскую, близкую родственницу моей жены, у которой совершенно не было разрешения на свидание, а она хотела повидать меня, так как мы с ней были большие приятели.

Ерофеев сообщил мне подробности самоубийства К. Степурина (перерезал концом консервной коробки вены на руках), охарактеризовав его, как благородного и мужественного человека.

— Я не могу простить себе, что не отправил его в больницу душевно-больных. Да и как было отправить? Полковник, говорит он мне, меня угнетает мысль, что во сне я могу проговориться, набредить. А потом стал бояться даже дышать—по дыханию можно узнать мысли. Явно помешанный человек. Думал, пройдет; отправить—нужно сказать причины, а как их скажешь! Окончательно замучат человека. Думал, пройдет... А вот не прошло... Может быть, человек поправился бы и был бы жив!..

Ерофеев часто говорил, что жандармы „зарятся“ на 5-ю и 6-ю галлерею Дома предварительного заключения, где сидели политические, и требуют, чтобы в качестве надзирателей он взял бы переодетых жандармов или сыщиков.

— Но я этого не допущу; если заставят, уйду в отставку. Дом предварительного заключения—обыкновенная, а не государственная тюрьма.

И он ушел в отставку, но уже после моей отправки в Сибирь. Причины отставки я не знаю—может быть и жандармы. Я не сомневаюсь, что заключенные и их родственники пожалели и не раз вспоминали доброго и культурного начальника тюрьмы.

Я забежал вперед. Вернемся в мою камеру на другой день моего ареста.

Кончился обход камер Дома предварительного заключения. Шла прогулка, и надзиратели были заняты больше гуляющими, чем сидящими в камерах. Послышался стук и в стены, и по трубе. Постучал (я ведь был рецидивист) по трубе и в правую стену—„подожди", а ответил налево. С левым соседом мы условились назавтра встретиться „в клубе". Потом переговорил с правым соседом, постучал и по трубе. Моими соседями были: слева секретарь мирового съезда Юрасов, справа артиллерийский офицер Вершинин, а внизу подо мной сидел капитан Мрозовский. На другой же день я разговаривал с Юрасовым через газовый рожок, не отвинчивая его; о возможности переговариваться через рожок при первом своем аресте я не догадывался. Днем газ запирался из коридора, и в стенной трубе, разветвлявшейся на два рожка, газа не было. С Вершининым беседы были также удобны: кто-то до нас раскачал болт, на котором держались обе наши кровати. Мы продолжали эту работу, тщательно убирая мусор, и в конце концов через получившуюся щель можно было шептаться, что мы и делали перед сном—ложились на кровати и закрывались одеялами. Сношения были труднее с Мрозовским—приходилось перестукиваться по железной трубе. Иногда по утрам Мрозовский военными сигналами, которые он мастерски исполнял на губах, приглашал меня в „клуб". Но разговоры по водосточной трубе в „клубе" были крайне неприятны, а главное, неудобны, потому что все 12 камер, расположенные по одной трубе, могли слышать разговор. С соседом Юрасовым мы играли в шахматы, сделанные из бумаги. Выстукивали поле фигуры, на котором она стояла, и поле, на которое передвигали ее. У каждого игрока были и белые, и черные фигуры. Переговаривались мы и через окно с гуляющими: сверху мы махали платком, а гуляющий или разглаживал усы, или делал незаметные для надзирателя на вышке движения руками. Среди гуляющих я увидел брата Николая, писателей К. М. Станю вича, М. Протопопова, Антонов-

ского и др. Через неделю или меньше я получил передачу, между прочим карточку В. А. Лушниковой в бархатной рамке, которую она вышила, с надписью. По этой передаче я убедился, что жена свободна. Свиданий не давали недели три-четыре, пока меня не допросили.

Мое дело вели тов. прокурора судебной палаты Котляревский, у которого был поврежден, вследствие покушения на его жизнь, глаз, и полковник Страхов. В их руках находилось все лопатинское дело. Они же допрашивали и меня. На вопрос о принадлежности к партии и о революционной деятельности я ответил, что к партии не принадлежал и революционной деятельностью не занимался. От знакомства с Якубовичем и Ермолаевым я отказался.

— А они признали вас. Вот письмо Александра Ивановича (кличка Якубовича) к вам, взятое у Ермолаева,—сказал Страхов.

Предъявили мне письмо. Подпись—„Александр Иванович". Обращение—„Дорогой И. И.". В письме условно говорилось что-то о „Молодой Народной Воле". Содержание, несомненно уличающее меня. Я обратил внимание на дату письма—28 марта—и обрадовался. Сознательно или по рассеянности, Якубович поставил дату недели на две позднее, чем было написано письмо.

— Письмо адресовано не мне. Почему И. И. должен быть Иван Иванович, а не Илья Ильич или еще кто-нибудь? Письмо написано 28 марта, а уже 16 марта я был арестован и сидел в Доме предварительного заключения...

Котляревский справился в старом моем деле, и оказалось, что я прав. Как потом выяснилось—Якубович не признал знакомства со мной. Ермолаев показал, что письмо он должен был передать лицу, которое иногда заходило к нему, но фамилии его не знает. Письмо это у Ермолаева завалилось, и он забыл о нем.

Письмо благополучно для меня разъяснили...

— Но вы читали „Народную Волю"? Кто вам давал?—спросил Котляревский.

— Иногда читал... но где и как доставал, хорошо не помню...

— Не запирайтесь. Мы знаем, что вы Иван Иванович из „Рабочей группы".

— Я Иван Иванович, но не из „Рабочей группы".

— А Емельянову знаете?

Признал и рассказал, как мы условились с ней, при каких обстоятельствах я познакомился с ней. Признал свое участие в „О-ве помощи политическим", так как решил, что участие в этом полулегальном обществе сравнительно с другими моими делами, которые могут раскрыться, пустяки. Но оговорился, что после освобождения я в этом обществе не принимал участия. Допрос сошел, как мне казалось, довольно благополучно. Ахиллесова пята была в „Иван Иванович из Рабочей группы", которым был я. Это подозрение жандармов нужно было рассеять и не допустить, чтобы оно обратилось в уверенность. Если это случится, то мне не миновать суда.

На допросе Страхов попенял мне за то, что я вовлек в горе свою жену, молодую женщину из прекрасной семьи. На это я заметил, что причина горя не я, а те, кто меня арестовал. Мне разрешили свидания, которые скрашивали монотонность тюремной жизни.

В тюрьме я составил для себя расписание дня и строго придерживался его. Режим и правильное распределение занятий в тюрьме, особенно в одиночном заключении, необходимы для поддержания бодрости духа. Я жил по расписанию и редко изменял ему. У меня было намечено, когда я должен заниматься гимнастикой, читать (легкое и серьезное чтение), писать, рисовать, вышивать и т. д. В тюрьме я вышил несколько полотенец и рубах. Игра в шахматы иногда затягивалась и нарушала мое распределение дня. Я не отказывался, как это делали некоторые из политиков, ходить в тюремную церковь—стоять в шкафу, в котором по направлению к алтарю было небольшое окошечко с решеткой. Церковь разнообразила монотонность тюремного дня. На пасху мне жена принесла горшок роз, и я ухаживал за ним, как, вероятно, не

ухаживает любитель-садовод за редким растением. Обед брал так называемый „дворянский“, прямо из кухни, и платил за него 30 или 40 коп., но не отказывался и от тарелки арестантской крутой гречневой каши с салом. В общем, заключение переносил легко.

В тюрьме бывали настроения, которых в жизни на воле я не переживал. Это—сознание исполненного долга и страдания за убеждения, когда я чувствовал приподнятое настроение и полное моральное удовлетворение. На воле я не писал стихотворений, а в тюрьме баловался ими. Мои соседи Юрасов и Вершинин одобряли их. К сожалению, почти за 40 лет все они выветрились из моей памяти, а записи их затерял. Сохранилось только одно, которое и приведу. Был четверг страстной недели. Из города, из разных церквей доносился печальный звон к 12-ти евангелиям. Противоположная стена тюрьмы была освещена заходящим солнцем. Вся обстановка, картины детства настроили меня на элегический лад, и почти сразу, не исправляя, я написал следующее стихотворение:

Грустно!.. Желтеют стены тюремные...
В окна врываются волны воздушные!
Жизнию веет весна!..
Вольному клетка тесна!..

* * *

Долго смотрю я на небо лазурное...
Слушаю благовест... В нем что-то чудное...
Странный мучительный звон!

* * *

Он в мою душу насильно врывается,
Дрожью по жилам моим пробирается,
В сердце проник этот стон,
Странный мучительный звон!

Большое разнообразие в тюремную жизнь вносили случайные встречи. Мы сидели изолированно, и были приняты все меры, чтобы заключенные не встречались между собой. Но бдительность стражников, несмотря на предупредительный звонок, не всегда достигала цели, особенно в дни свиданий. На винтовой лестнице происходили

встречи, обмен приветствиями, новостями. Иногда мы встречались и не случайно, а с умыслом. Помню одну встречу с К. М. Станюковичем. Мы с ним гуляли в одной партии, и он попал в „стойло" рядом со мной. Я ухитрился ему простучать, чтобы он возвращался быстрее, а я постараюсь задержаться. Так мы и сделали, и на одной из площадок лестницы он меня нагнал. Мы поздоровались и стали подниматься по лестнице вместе, быстро рассказывая друг другу о допросах и новостях; он рассказал о своем аресте при возвращении из-за границы. В конце концов нас развели, но „свидание" состоялось, и мы оба остались довольны.

После пасхи Мрозовского перевели в другую камеру, а на место его посадили „Деда", М. П. Овчинникова. Это мне было наруку: с Овчинниковым у меня было не мало общих дел, и мы могли сговориться. „Дед" не любил перестукиваться, и наши беседы происходили в „клубе". В этих беседах Овчинников изливал свою душу, сетовал на парижский центр за Дегаева. Он считал, что после дегаевщины всякие обязательства к Тихомирову, Ошаниной и др., даже к Исполнительному Комитету, сняты с него, упрекал нас, что мы не довели до конца организацию „Молодой Партии Народной Воли".

— Дегаеву не должно быть прощения, даже если бы он выдал только одну Веру Фигнер; но он провалил и военную организацию и наделал таких бед партии, что никакие Судейкины и их убийства не могут компенсировать этих бед...

Мы много спорили, но провокаторство Дегаева так подействовало на Овчинникова, что он отошел от революции и занялся в Сибири только археологией, которой увлекался так же, как в свое время революцией.

Весной Вершинина отправили в Ташкент в крепостную артиллерию. Лет через 15 я встретился с ним в Иркутске. Он был полковником и прочел в местном отделе Географического О-ва доклад. Он попрежнему остался передовым человеком, но к революционным делам уже не имел отношения. Во время японской войны он занимал

в Порт-Артуре какое-то генеральское место. Мрозовский, сидевший в Доме предварительного заключения, подо мною, также отошел от революции, дослужился до крупных чинов и, кажется, был убит во время японской войны. Когда он проезжал через Иркутск на войну, он зашел в редакцию газеты „Восточное Обозрение“, заинтересованный тем, что „редактор газеты И. И. Попов—уже не тот ли Попов, который сидел над ним на Шпалерной“. Он был в чине полковника, такой же весельчак, а про былое говорил— „юношеские бредни!“...

В камеру Вершинина посадили И. И. Гейера. Он, как и Елько, выдал на допросе многих, и я с ним не вел разговоров. Гейер был осужден по лопатинскому процессу на каторгу, но вместо каторги оказался в Ташкенте чиновником особых поручений при губернаторе. В Ташкент же также уехал приговоренный к каторге Елько.

В 1891 г. в Ташкенте я встретился с Гейером. Об этой встрече и Гейере буду говорить ниже.

Вскоре после отъезда Вершинина меня перевели в другую камеру. Случайность, или это была услуга Ерофеева,— моим соседом оказался Н. М. Флеров. Соседство было так неожиданно, что хотя через газовый рожок по голосу, а он меня и по произношению, мы узнали друг друга, но все-таки решили проверить: по очереди два дня не ходили гулять, а смотрели в окно, и убедились, что мы есть мы.

Н. М. Флеров передал, что обо мне его спросили вскользь, и он отказался от меня. Бодаев также не признал знакомства со мной. Он все еще сидит. Флеров вынес убеждение, что жандармы мало знают, спрашивают пустяки, а о серьезных делах ни слова. Он одобрил мою тактику на допросах и советовал отпираться елико возможно. Флерова сослали на 5 лет в Березов. По окончании ссылки он жил в Орле, принял участие в организации, вместе с Натансоном и Гедеоновским, партии „Народное Право“, а значительно позднее стал социал-демократом. Встречи с Н. М. Флеровым для меня всегда были приятны и радостны. Он скончался в 1915 г.

Переводили меня из камеры в камеру еще раза три. Против этого я ничего не имел, так как знакомился с новыми лицами. Одно время сидел рядом со студентом Степановым, молоканином, с которым я был близок на воле.

В предварилке мы были довольно хорошо осведомлены о том, что делается за стенами тюрьмы. Я порадовался, что № 11—12 „Народной Воли", начатый еще нами, скоро выйдет.

Допросы шли своим чередом. Котляревский и особенно Страхов старались установить факт, что я и есть тот Ив. Ив., которого они ищут. Предъявляли мне массу карточек, читали какие-то показания, устраивали очные ставки, возили в департамент полиции, и сам Плеве, положив передо мной два объемистых альбома, любезно просил не стесняться и познакомиться с карточками, „среди которых я найду, вероятно, много знакомых". Но когда я стал подолгу останавливаться под испытующим взором Плеве над каждой карточкой и изучать ее, чтобы не выдать себя, то он захлопнул альбом... и меня увезли. Желание полковника Страхова, как он заявил мне на одном допросе, создать всеобъемлющий партию антураж процессу Лопатина, Якубовича, Стародворского и др., а для этого нужно иметь в нем представителя Центрального Комитета „Рабочей группы", срывалось. Выходило, что я хотя Федот, да не тот. Кажется, в июне меня снова привезли на допрос. Котляревский и Страхов беседовали о посторонних делах и не предлагали мне ни одного относящегося к моему делу вопроса. Я успел просмотреть газету „Новое Время", что для меня представило большой интерес, так как газеты в тюрьму не допускались. Вводят какого-то господина... Я смотрю на него с недоумением... Раньше никогда не видал его.

— Разве вы не знакомы?—обратился ко мне Котляревский.

— Нет, вижу в первый раз.

— А вы что скажете?—вопрос к незнакомцу.

— Как и раньше говорил, так и теперь, когда вижу этого господина, говорю—не тот. „Иван Иванович" много старше и выше.



Народовольцы через 50 лет

Слева направо сидят: 1. *Брамсон Моисей Васильевич.* 2—3. *Фрейфеле Лев Владимирович.* 4. *Сажин Михаил Петрович.* 5. *Гедеоновский Александр Васильевич.* 6. *Залкинд Леонид Самойлович.* 7. *Васильев Макар Николаевич.* 8. *Якимова—Диковская Анна Васильевна, Иванова — Борейшо Софья Андреевна.* 10. *Шабалина Мария Осиповна (виден кончик головы).* 11. *Коган—Бернштейн Наталья Осиповна.* 12. *Перли — Брагинская Паулина Исаевна.* 13. *Попов Иван Иванович, за ним* 14. *Лебедев Александр Никифорович.* 15. *Шебалин Михаил Петрович.* 16. *Яковенко Евгений Иванович. Стоят:* 17. *Ракитников Николай Иванович.* 18. *Орлов Михаил Петрович.* 19. *Терешкович Константин Миронович.* 20. *Леонович—Ангорский Василий Викторович.* 21. *Брагинский Марк Абрамович.*

— Но, может быть, он изменил свою наружность; вглядитесь хорошенько,—бросил реплику Страхов.

— Мудрено мне измениться: ни ножницы, ни бритва не касались моих усов и бороды, да и растительности у меня почти нет. Волосы за время ареста немного отросли,—заметил я.

Незнакомец опять подтвердил, что меня не знает. Его хотели увести, но я решительно потребовал составления протокола об очной ставке и назвать фамилию незнакомца. Мое требование было исполнено. Незнакомец оказался секретарем большой петербургской газеты „Новости“, Грековым, и сидел в тюрьме уже около года. О нем, как и о И. И. Гейере и Елько, стало известно, что он не выдержал и многих оговорил.

Для меня стало ясно, почему была очная ставка между Грековым и мною. У меня явилась уверенность, что я уже не буду пополнять „антуражей“ лопатинского процесса. Дело в том, что в 1883 году я должен был видеться с Грековым, переговорить о покупке шрифта и получить заграничную корреспонденцию. Случилось так, что мне нельзя было итти к нему, и я попросил А. Н. Дембского заменить меня, передал пароль и сказал, что он должен быть „Иван Иванович из „Рабочей группы“. Дембский все сделал, все, что нужно, получил. Потом ни я, ни он не виделись с Грековым. А. Н. Дембский был значительно старше меня, выше ростом и рыжий. Дембский, когда начались аресты, уехал в Варшаву, после удрал из кофейни, где его и Щулепникову хотели арестовать, и благополучно эмигрировал за границу; потом в Швейцарии при пробе бомбы он был ранен, а его товарищ Дембо был убит. В 1889 г. в Париже я виделся с Дембским и поблагодарил его за огромную услугу, которую он мне невольно оказал. Греков выдавал, и, конечно, у него не могло быть оснований выгораживать меня, да и наше взаимное удивление при очной ставке было и в глазах жандармов вполне естественным. Котляревский убедился, а Страхов сомневался в том, что я не тот „Иван Иванович из „Рабочей группы“, который им так нужен для „антуража“ процесса.

Перед отправкой меня в Сибирь Страхов мне сказал:

— Иван Иванович, а я все-таки думаю, что вы тот Иван Иванович, которого мы ищем.

Случайность, что Дембский заменил меня, а не я сам пошел к Грекову, спасла меня. Он, конечно, выдал бы меня, как выдал других, и тогда бы „Иван Иванович из „Рабочей группы“ был бы установлен в моем лице. Тогда бы открылись и многие другие дела, и мне, вероятно, было бы не миновать лопатинского процесса и серьезной кары. Отсутствие псевдонима-клички и мое распространенное имя и отчество спутали жандармов, как спутало их и письмо Якубовича с датой, когда я уже сидел. Был еще случай, когда допрос, начавшийся в серьезном, строгом тоне, перешел в фарс. Меня вызвали на допрос, и Котляревский сухим тоном спросил:

— Г. Попов, куда вы отлучались, уезжали на полтора месяца?

Я удивился заданному вопросу, так как никуда не уезжал.

— Никуда я не ездил.

— Ну скрывались в Петербурге?

— И этого не было.

— Как не было, когда у нас имеются официальные сведения из училища, где вы состоите учителем?

Я ничего не понимал, но когда прочел отношение из училища, то расхохотался...

— А ведь верно—я укрывался, и знаете, кто был моими укрывателями? Вы... скрывали меня на Шпалерной, где я и теперь сижу.

Котляревский и Страхов, недоумевая, смотрели на меня; я обратил их внимание на слова отношения—„весной, на пасхе“, припомнил, что я в это время был арестован, и рассказал сочиненную мною и моими родными историю со сломанной рукой во время поездки к сестре, чтобы скрыть в училище свой арест, „а то купцы, заведывающие училищем, перепугались бы, и мне пришлось бы оставить училище; я же знал, что меня освободят“... Страхов или Котляревский навел справку в старом моем деле; слова мои подтвердились, и они оба расхохотались.

— Итак, в училище не узнали о вашем аресте?

— Так и не узнали!

— Ловко вышло. Ну как же можно вам верить,—шутя заметил Котляревский,—когда вы провели целое учреждение.

И эта история послужила мне не во вред, а скорее расположила следователей в мою пользу.

Недели через две или месяц после очной ставки с Грековым меня снова вызвали на допрос. Был только Котляревский и беседовал со мной о том, какой бы я город выбрал для жизни. Оказалось—вся Европейская Россия, Кавказ, Туркестан и Западная Сибирь для меня изъяты.

— Отчего бы вам не поехать в Кяхту? Тесть ваш крупный коммерсант, ведет большие дела, и вы там легко найдете занятие,—предложил он мне.

Я не дал твердого согласия и в то же время не отказался. Через некоторое время мне объявили, что мое дело следствием закончено и передано на заключение министров внутренних дел и юстиции, т. е. решается в административном порядке. Я успокоился, хотя знал, что Сибири мне не миновать, и ждал резолюции министров, предрешенной уже жандармским управлением и прокурором.

Я оглянулся назад, почти на пятилетний период революционной работы, охватившей кульминационный момент расцвета партии „Народной Воли“ и дегаевщину, не только разгромившую, но и разложившую партию. Стали яснее ошибки, стали понятны наши несбыточные мечты о том, что общество использует такой факт, как 1 марта, а вместо этого—робкие выступления некоторых земцев или Шагеева в петербургском дворянстве с предложением ходатайствовать о неприкосновенности личности и о реформах, расширяющих права земства. И в ответ на эти скромные ходатайства-пожелания бесшабашная реакция в правительстве и кладбищенская тишина в обществе. Становится понятным стремление „Народной Воли“ произвести переворот путем заговора. А отсюда неизбежен строго централистический тип революционной организации. Но этот тип таил в себе и слабые стороны организации, создавая почву

для провокации, судейкинской системы борьбы с революционерами и дал дегаевщине возможность нанести смертельный удар партии в момент, когда она была особенно сильна. О силе партии говорили те военные, которыми были переполнены крепость, предварилка и др. тюрьмы. Неизбежна была реакция против этого централизма, неизбежна была „Молодая Партия Народной Воли", неизбежен, казалось, был и раскол, а может быть и полный разрыв партии, связанной железной дисциплиной. Не горячность „красных петухов", как назвал нас любивший крылатые словечки Г. А. Лопатин, вызвала „Молодую Народную Волю", а общие условия жизни партии, ее централизм, благоприятный для появления дегаевщины (позднее „азефовщины"), дали толчок этому движению. Но „красные петухи" в критический момент, сознавая, что раскол в партии произведет удручающее впечатление на общество, самоотверженно отказались от своего намерения. Вот это-то самоотвержение, это обречение себя на жертву проходит красною нитью через всю историю русских революционных партий. Этим самоотвержением были проникнуты все крупные и мелкие работники партии, которые прошли перед моими глазами. А их было не мало, целые сотни: Архангельский, Теллалов, Грачевский, С. Перовская, Корба, Прибылевы, Латышев, Нагорный (больной, в постели, переживавший тяжкие физические страдания), Судаковы, Кампанец, Андржикович, Буцевич, Серебряков, Флеров, Бодаев, Флоровский, Степурин, Александровский, Добрускина, Прозоровский, Якубович, Лопатин, Салова, Емельянова, Бах, художник Езов и многие другие, не говоря уже о свехреволюционерке и человеке В. Н. Фигнер, перед которой мы, лично не зная ее, преклонялись,—скажу, молились,—и когда лично узнали, она предстала перед нами в еще более лучезарном свете. Масса лиц и имен проходила перед моим мысленным взором... Но возьму некоторых, случайно стоящих в моей памяти. Умирающий Архангельский говорит не о смерти, а о том, каким должен быть революционер. Блестящий, высоко талантливый, отважный с некоторой долей авантюризма, пользующийся отличной репу-

тацией в Европе и имеющий там связи в политических и литературных кругах Г. А. Лопатин едет на явную гибель в Россию. Талантливый поэт и писатель, не расстающийся с книжкой Бодлэра и в промежутках между делами зачитывающийся Пушкиным и другими поэтами, мягкий, отзывчивый П. Ф. Якубович и холодный, воплощение формул, отказывавший себе во всем, Н. М. Флеров, когда мы уговаривали их уехать за границу, то получили ответ: „Нельзя: я еще нужен здесь!“ Генеральская дочь Щулепникова, обставленная благами жизни, оставляет отца, который мешает ей работать, и переходит на нелегальное положение—„иначе отец найдет и не даст мне работать, хотя бы для этого нужно было меня арестовать: он убежденный монархист и честный человек“. Юная, беззаботная Добрускина бросает курсы,—а училась она до самозабвения,—жениха и едет в Ростов по опасному делу, по поручению Александра Ивановича (Якубовича), и Н. М. Салова, красавица, избалованная жизнью женщина, приезжает в гущу революционных дел в Петербург, где живет ее семья, ее отец, кажется частный пристав,—трагедия и героизм. Добрая, вся охваченная пылом помощи заключенным, свято хранившая память и заветы своих сестер, Ольга Фигнер и ее жених, потом муж, Сергей Флоровский, в расцвете своей юной любви идут на „тесную дорогу честную“... И я мог бы без конца продолжать характеристику людей, которых горячо полюбил. Даже те, кто в казематах тюрьмы не выдержал и попал в сети, расставленные Судейкиным, в жизни были благородными и самоотверженными людьми...

Сидя в камере или шагая по ней, я любил возвращаться к прошлому и вызывать дорогие образы, горевшие „любовью к отчизне бесталанной“ и желавшие солнцу:

... Свети другим —
Ты счастье им приносишь!

я был благодарен судьбе за то, что я встретился и сдружился с такими людьми!..

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ответ. редактор В. И. Невский
Худож. редакция и общее руковод. изданием М. Сокольников.
Лит.-тех. ред. А. Плавильщиков,
Руководитель производ. группы М. Козлов.

* * *

Книга сдана в набор 23/IX-32, подписана к печати 13/III-33, Тир. 8300 экз.
Москва, Уполн. Главлита Б 24031
Заказ тип. № 6133 Зак. «Ас» № 17.
Индекс А—2. Бумага 82 × 110 — 1/32.
Печат. лист. 13 3/4. Авт. лист. 9 1/2.
Тип. знак. на 1 бум. лист 116 736

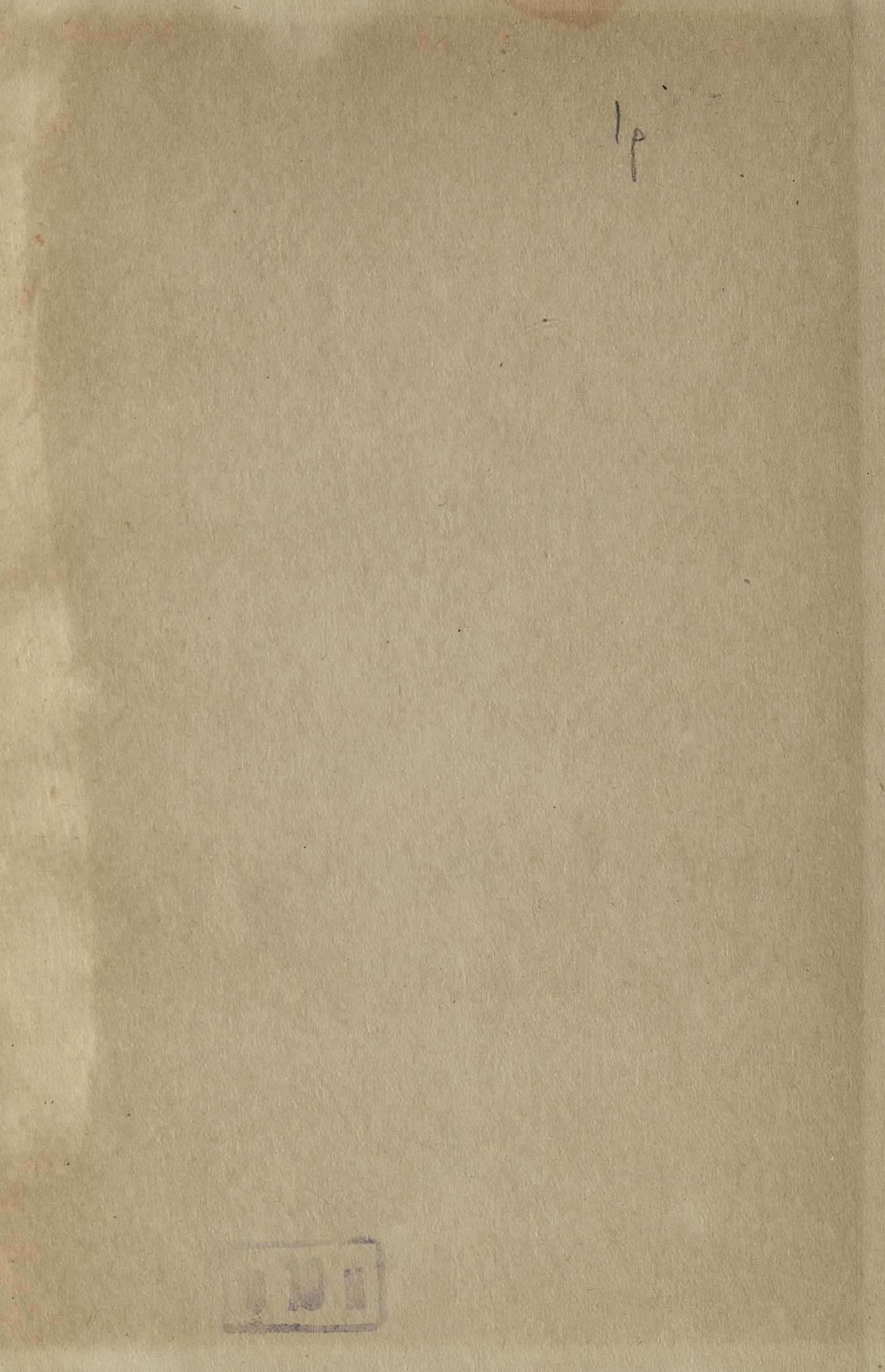
* *

Отпечатано на третьей фабрике книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига» «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16.

* * *

Цена 6 руб., переплет 2 руб.


2019374046



МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И БЫТА.

ЗВЕНЬЯ
Выпуск III

КРАПОТКИН П. А.
Записки революционера

КРАПОТКИНЫ П. и А.
Переписка т. II

МЕЙЗЕНБУГ М.
Воспоминания идеалистки

ЧЕХОВ М. П.
Вокруг Чехова

ACADEMIA

Москва, Кузнецкий мост, 18/7
Ленинград, проспект 25 Октября
«Дом Книги»


ACADEMIA